

АЛЕКСЕЙ Н. ТОЛСТОЙ

ПРИВорот

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА - - 1923 - - ПЕТРОГРАД

АЛЕКСЕЙ Н. ТОЛСТОЙ

П Р И В О Р О Т

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА - - 1923 - - ПЕТРОГРАД

РУСАЛОЧЬИ СКАЗКИ

РУСАЛКА.

Во льду дед Семен бьет прорубь—рыбку ловить. Прорубь не простая—налажена с умом.

Дед обчертил пешней круг на льду, проколупал яму, посередине наладил изо льда же кольцо, а внутри его ударил пешней.

Хлынула спертая, студеная вода, до краев наполнила прорубь.

С водой вошли рыбки,—снеток, малявка, плотва.

Вошли, поплавали, а назад нет ходу—не пускает кольцо.

Посмеялся своей хитрости дед Семен, приладил сбоку к проруби канавку—сачок заводить и пошел домой, ждать ночи—когда и большая рыбина в прорубь заходит.

Убрал дед Семен лошадь и овцу—все свое хозяйство и полез на печь.

А жил он вдвоем со старым котом на краю села в мазанке.

Кот у деда подмышкой песни запел, тыкался мокрым носом в шею.

— Что ты, неугомонный,—спрашивает дед,—или мышей давно не нюхал?

Кот ворочался, старался выговорить на кошачьем языке не понять что.

„Пустяки“, думает дед, а сна нет как нет.

Проворочался до полуночи, взял железный фонарь, сачок, ведро и пошел на речку.

Поставил у проруби железный фонарь, стал черенком постукивать по льду.

— Ну-ка, рыбка, плыви на свет.

Потом разбил тонкий ледок, завел сачок и вытянул его полный серебряной рыбешки.

„Что за диво“, думает дед, „никогда столько рыбы не лавливал. Да смиренная какая, не плещется“.

Завел и еще столько же вытянул. Глазам не верит, — „нам с котом на неделю едева не проест“.

Посветил фонарем в прорубь: и видит на дне около кольца лежит темная рыбина.

Распоясался дед Семен, снял полушубок, рукава засучил, наловчился да руками под водой и ухватил рыбину.

А она хвостом не бьет,—смирная.

Завернул дед рыбу в полу, подхватил ведро с малявками, и—домой...

— Ну, —говорит,—котище, поедим на старости до отвала, смотри...

И вывалил из полы на стол.

И на столе вытянула зеленый плес, руки сложила, спит русалка,—чернобровая, личико—спокойное, детское...

Дед—к двери, ведро уронил, а дверь забухла,—не отворяется.

Русалка спит...

Обошелся дед понемногу; пододвинулся поближе, потрогал—не кусается, и грудь у нее дышит, как у человека.

Старый кот рыбу рассыпанную не ест, на русалку смотрит,—горят котовские глаза.

Набрал дед тряпья, в углу на печке гнездо устроил, в голова шапку старую положил, отнес туда русалку, а чтобы тараканы не кусали—прикрыл решето.

И сам на печку залез, да не спится.

Кот ходит, на решето глядит...

Всю ночь проворочался старый дед; поутру скотину убрал да опять к печке: русалка спит; кот от решета не отходит.

Задумался дед; стал щи из сметков варить, горшок валится, чаду напустил...

Вдруг чихнуло...

— Кот, это ты?—спрашивает дед.

Глянул под решето, а у русалки открытые глаза,—светятся. Пошевелила губами:

— Что это ты, дед, как чадишь, не люблю я чаду.

— А я сейчас,—заторопился дед, окно поднял, а горшок с недоваренными щами вынес за дверь.

— Проснулась?—А я тебя было за щуку опознал.

Половина дня прошла, сидят дед и кот голодные. Русалка говорит:

— Дед Семен, я есть хочу.

— А я сейчас, вот только,—дед помялся,—хлебец ржаной у меня, больше ничего нет.

— Я леденцов хочу.

— Сейчас я, сейчас...—Вышел дед на двор и думает:

„Продам овцу,—куда мне овца? Куплю леденцов“...

Сел на лошадь, овцу через шею перекинул, поскакал в село.

К вечеру вернулся с леденцами.

Русалка схватила в горсть леденцов—да в рот, так все и съела, а, наевшись, заснула...

Кот сидел на краю печки, злой, урчал.

Приходит к деду внученок Федька, говорит:

— Сплети, дед, мочальный кнут...

Отказать нельзя. Принялся дед кнут вить, хоть и не забавно, как раньше бывало.

Глаза старые, за всем не углядишь, а Федька на печку да к решетку.

— Деда, а деда, что это? — кричит Федька и тянет русалку за хвост... Она кричит, руками хватается за кирпичи.

— Ах ты, озорник! — никогда так не сердился дед Семен; отнял русалку, погладил, а Федьку мочальным кнутом: — Не балуй, не балуй...

Басом ревел Федька:

— Никогда к тебе не приду...

— И не надо.

Замкнулся дед, никого в избу не пускал, ходил мрачный. А мрачнее деда — старый, рыжий кот...

— Ох, недоброе, кот, задумал, — говорил дед. Кот молчал.

А русалка просыпалась, кланчила то леденцов, то янтарную нитку. Или еще выдумала:

— Хочу самоцветных камушков, хочу наряжаться.

Нечего делать — продал дед лошадь, принес из города сундучок камушков и янтарную нитку.

— Поиграй, поиграй, золотая, посмейся.

Утром солнце на печь глядело, сидела русалка, свесив зеленый плес с печи, пересыпала камушки из ладони в ладонь, смеялась.

Дед улыбался в густые усы, думал:

„Век бы на нее просмотрел“.

А кот ходил по пустому хлеву и мяукал хриплым мявом, словно детей хоронил. Потом прокрался в избу. Шерсть дыбом, глаза дикие.

Дед лавку мыл; солнце поднималось, уходило из избы...

— Дед, дед! — закричала русалка. — Разбери крышу, чтобы солнце весь день на меня светило.

Не успел дед повернуться, а кот боком махнул на печь, повалил русалку, искал усатой мордой тонкое горло.

Забилась русалка, вывертывается. Дед на печь, оттащил кота.

— Удуши кота, удуши кота, — плачет русалка.

— Кота-то удушить? — говорит дед, — старого!..

— Он меня съест.

Скрутил дед тонкую бечовку, помазал салом, взял кота, пошел в хлев.

Бечовку через балку перекинул, надел на кота петлю.

— Прощай, старичок...

Кот молчал, зажмурил глаза.

Ключ от хлева дед бросил в колодезь.

А русалка долго на этот раз спала: должно быть, с перепугу.

Прошла зима. Река разломала лед, два раза прорывала плотину, насилу успокоилась.

Зазеленела на буграх куриная слепота, запахло березами, и девушки у реки играли в горелки, пели песни.

Дед Семен окно раскрыл; пахучий, звонкий от песен ветер ворвался в низкую избу.

Молча соскочила с печки русалка, поднялась на руках.

Глядит в окно, не сморгнет, высоко дышит грудь.

— Дед, дед, возьми меня: я к девушкам хочу.

— Как же мы пойдем, засмеют они нас.

— Я хочу, возьми меня.—Натерла глаза и заплакала.

Дед смекнул:

Положил русалку за пазуху, пошел на выгон, где девушки хоровод водили.

— Посмотрите - ка, — закричали девушки, — старый приплелся...

Дед было барахтаться... Ничего не помогло — кричат, смеются, за бороду тянут. От песней, от смеха, закружилась стариковская голова:

А солнышко золотое, ветер степной...

И за самое сердце укусила зубами русалка старого деда, — впиалась...

Замотал дед головой да — к речке бегом бежать...

А русалка просунула пальцы под ребра, раздвинула, вцепилась зубами еще раз. Заревел дед и пал с крутого берега в омут.

С тех пор по ночам выходит из омута, стоит над водой седая голова, мучаясь, открывает рот.

Да мало что напелсти можно про старого деда!

ИВАН ДА МАРЬЯ.

Десятая неделя после Пасхи — купальские дни.

Солнце самый пуп земли печет и зацветает дивная Полянь-травы. В озера, на самое зеленое дно, под коряги подводные, под водоросли глядит огненное солнце.

Негде упрятаться русалкам-мавкам и в тихие вечера, в лунные ночи уходят они из вод озерных и хоронятся в деревьях и зовут их тогда древяницами.

Это присказка, а сказка вот такая.

Жили-были брат Иван да сестра Марья в мазаной хате на берегу озера.

Озеро тихое, а слава о нем дурная: водяной шалит.

Встанет над озером месяц, начнут булькать да ухать в камышинных заводях, захлопают по воде словно вальками, и выкатит из камышей на дубовой коряге водяной, на голове колпак, тинной обмотан. Увидишь, прячешься—под воду утает.

Строго брат Иван наказывал сестре Марье:

— Отлучусь я, так ты после сумерек из хаты—ни ногой, песни не пой над озерной водой, сиди смиренно, тихо, как мыши сидят...

— Слушаю, братец!—говорит Марья.

Ушел Иван в лес. Скучно стало Марье одной за станком сидеть; облокотилась она и запела:

Где ты, месяц золотой?—
Ходит месяц над водой...
В глыбко озеро взглянул,
В темных водах утонул...

Вдруг стукнуло в ставню.

— Кто тут?

— Выдь к нам, выдь к нам, — говорят за ставней тонкие голоса.

Выбежала Марья и ахнула.

От озера до хаты—хороводы русалочки.

Русалки-мавки взялись за руки, кружатся, смеются, играют.

Всплеснула Марья ладонями. Куда тут, обступили ее мавки, венки надели...

— К нам, к нам в хоровод, ты краше всех, будь наша царица.—Взяли Марью за руки и закружились.

Вдруг из камыша вылезла синяя, раздутая голова в колпаке.

— Здравствуй, Марья,—захрипел водяной,—давно я тебя поджидал...—И потянулся к ней лапами...

Поздним утром пришел Иван. Туда, сюда—нет сестрицы. И видит на берегу башмаки ее лежат и пояс.

Сел Иван и заплакал.

А дни идут, солнце ближе к земле надвигается.

Настала купальская неделя.

„Уйду,—думает Иван,—к чужим людям век доживать, вот только лапти новые справлю“.

Нашел за озером липку, ободрал, сплел лапти и пошел к чужим людям.

Шел, шел, видит—стоит голая липка, с которой он лыки драл.

„Ишь ты, назад завернул“, подумал Иван и пошел в другую сторону.

Кружил по лесу и опять видит голую липку.

— Навожденье,—испугался Иван, побежал рысью.

А лапти сами на старое место загибают...

Рассердился Иван, замахнулся топором и хочет липку рубить. И говорит она человеческим голосом:

— Не руби меня, милый братец...

У Ивана и топор вывалился.

— Сестрица, ты ли?

— Я, братец; царь водяной меня в жены взял, теперь я древяница, а с весной опять русалкой буду... Когда ты с меня лыки драл, наговаривала я, чтобы не уходил ты отсюда далеко.

— А нельзя тебе от водяного уйти?

— Можно, найти нужно Полынь-траву на зыбком месте и мне в лицо бросить.

И только сказала, подхватили сами лапти, понесли Ивана по лесу.

Ветер в ушах свистит, летят лапти над землей, поднимаются, и вверх в черную тучу мчится Иван.

„Не упасть бы“, подумал, и зацепился за серую тучу — зыбкое место.

Пошел по туче — ни куста кругом, ни травинки.

Вдруг зашевелился под ногами и выскочил из тучевой ямы мужичок-с-локоток, красная шапочка.

— Зачем сюда пришел? — заревел мужичок, как бык, откуда голос взялся.

— Я за Полынь-травой, — поклонился Иван.

— Дам тебе Полынь-траву, только побори меня цыганской ухваткой.

Легли они на спины, по одной ноге подняли, зацепились, потянули.

Силен мужичок-с-локоток, а Ивану лапти помогают.

Стал Иван перетягивать.

— Счастье твое, — рычит мужичок, — быть бы тебе на седьмом небе, много я закинул туда вашего брата. Получай Полынь-траву. — И бросил ему пучок.

Схватил траву, побежал вниз Иван, а мужичок-с-локоток как заревет, как загрохочет и язык красный из тучи то метнет, то втянет.

Добежал до липки Иван и видит — сидит на земле страшный дядя, водит усами...

— Пусти, — кричит Иван, — знаю, кто ты, не хочешь ли этого? — И ткнул водяному в лицо Полынь-травой.

Вспучился водяной, лопнул и побежал ручьем быстрым в озеро.

А Иван в липку бросил Полынь-траву, вышла из липки сестрица Марья, обняла брата, заплакала, засмеялась.

Избушку у озера бросили они и ушли за темный лес — на чистом поле жить, не разлучаться.

И живут неразлучно до сих пор и кличут их всегда вместе — Иван да Марья, Иван да Марья.

ВЕДЬМАК.

На пне сидит ведьмак, звезды считает когтем — раз, два, три, четыре... Голова у ведьмака собачья и хвост здоровенный, голый.

... Пять, шесть, семь... и гаснут звезды, а вместо них на небе оказываются черные дырки. Их-то и нужно ведьмаку — через дырки с неба дождик льется.

А дождик с неба — хмара и темень на земле.

Рад тогда ведьмак: идет на деревню людям вредить.

Долго ведьмак считал, уж и мозоль на когте села.

Вдруг приметил его пьяненький портной: ах, ты, говорит, гад! И побежал за кусты к месяцу — жаловаться. Вылетел из-за сосен круглый месяц, запрыгал над ведьмаком — не дает ему звезд тушить. Нацелится ведьмак когтем на звезду, а месяц, — тут как тут, и заслонит.

Рассердился ведьмак, хвостом закрутил — месяц норовит зацепить и клыки оскалил.

Притихло в лесу. А месяц нацелился — да как хватит ведьмака по зубам...

Щелкнул собачьей пастью ведьмак, откусил половину у месяца и проглотил.

Взвился месяц ущербный, свету не взвидел, укрылся за облако.

А ведьмак жалобно завыл, и посыпались с деревьев листочки.

У ведьмака в животе прыгает отгрызенный месяц, жжет; вертится юлой ведьмак, и так и сяк — нет покоя...

Побежал к речке и бултыхнулся в воду... Расплескалась серебряная вода. Лег ведьмак на прохладном дне. Корчится. Подплывают русалки стайкой, как пескари, маленькие... Устались, шарахнулись, подплыли опять и говорят:

— Выплюнь, выплюнь месяц-то.

Понатужился ведьмак, выплюнул, повыл немножко и подох.

А русалки ухватили голубой месяц и потащили в самую пучину.

На дне речки стало светло, ясно и весело.

А месяц, что за тучей сидел, вырастил новый бок, пригладился и поплыл между звезд по синему небу.

Не впервые ясному бока выращивать.

ВОДЯНОИ.

Лежит на возу мужик, трубочку посасывает — продает черного козла. А народу на ярмарке — труба нетолченая.

Подходит к мужику седой старец, кафтан на нем новый, а полы мокрешеньки.

— Ишь, угораздило тебя на сухом месте измочиться,— сказал мужик.

Поглядел старец из-под косматых бровей и спрашивает:

— А ты пустяки не говори; продажный козел-то?

— Не для себя же я козла привел; продажный.

Сторговались за три рубля, старик увел козла, а мужик принялся в кисет деньги совать, и видит — вместо трешницы лягушья шкурка.

— Держите его, православные!—закричал мужик, —водяной по ярмарке ходит!

Собрались народ: стали шуметь, рукавицами махать; мужика на съезжую повели; продержали весь день и выпустили; и пошел он в сумерки домой, а дорога — лесом. Вдруг видит мужик—идет его козел, крутые рога опустил, топает ножками, а на нем, верхом, чучело сидит зеленое, рачьи усы растопырой, а глаза плошками.

Проехало чучело, ухватило лапой мужика, посадило с собой рядом; помчались к озеру да с кручи вместе — прыг в воду, очутились на зеленом дне.

— Ну,—говорит ему чучело,—народ мутить, меня ловить будешь али нет?

— Нет уж, теперь мне, батюшка водяной, не до смеху.

— А чем ты себя можешь оправдать, чтобы я тебя сейчас не съел?

— Мы народ рабочий,—отвечает мужик, —поработаю на тебя.

— А что делать умеешь?

— Не ученые мы, батюшка водяной, только баклуши и бьем.

— Хорошо,—говорит водяной,—бей баклуши... — и ушел.

Стал мужик из осиновых чурбанов баклуши бить, сам плачет, рыдает. Много набил, целую кучу.

Пришел водяной и удивился:

— Ты что это вытворяешь?

— Баклуши бью, как вы приказали.

— А на что мне баклуши?

Почесал мужик спину:

— Ложки из них делать.

— А на что мне ложки?

— Горячее хлебать.

— Ах ты, дурень, ведь я одну сырую рыбу ем. Ни к чему ты мужик не годишься. Держись.

Щелкнул водяной мужика по маковке и обернул его в ерша.

Потом усы раздвинул, рот раскрыл и стал ерша заглатывать. А мужик, хоть и в ерша перевернулся, и тут угодить не мог: уперся водяному поперек горла щетиной. Закашлял водяной, задавился, вытащил ерша и выкинул его из воды на

берег. Отдышался мужик, встал на ноги, в своем виде, почесался и сказал:

— Ну да, оно ведь это тоже не легко, с крестьянством-то.

КИКИМОРА.

Над глиняным яром—избушка, в избушке старушка живет и две внучки; старшую зовут Моря, младшую Дуничка.

Один раз—ночью—лежит Моря на печи,—не спится. Свесила голову и видит.

Отворилась дверь, вошла какая-то лохматая баба, вынула Дуничку из люльки и—в дверь—и была такова.

Закричала Моря.

— Бабынька, бабынька, Дуньку страшная баба унесла...

А была та баба—кикимора, что крадет детей, а в люльку подкладывает вместо них полено.

Бабушка — искать - поискать, да знать кикимора под яром ушла в омут зеленый. Вот слез-то что было!

Тоскует бабушка день и ночь. И говорит ей Моря:

— Не плачь, бабушка, я сестрицу отыщу.

— Куда тебе, ягодка, сама только пропадешь.

— Отыщу да отыщу,—твердит Моря. И раз, когда звезды высыпали над яром, Моря выбежала, крадучись, из избы и пошла, куда глаза глядят.

Идет, попрыгивает с ноги на ногу, и видит — стоит над яром дуб, а ветки у дуба ходуном ходят. Подошла ближе, а из дуба торчит борода и горят два зеленых глаза...

— Помоги мне, девочка, — кричит дуб, — никак не могу нынче в лесного обратиться, опояшь меня пояском.

Сняла с себя Моря пояс, опоясала дуб. Запыхтело под корой, завозилось, и встал перед Морей старый леший...

— Спасибо, девка, теперь проси, чего хочешь.

— Научи, дедушка, где сестрицу отыскать, ее злая кикимора унесла.

Начал леший чесать себе затылок...

А как начесался—придумал.

Вскинул Моря на плечи и побежал под яром, вперед пятками.

— Садись за куст, жди, — сказал леший и на берегу омута обратился, в корягу, а Моря спряталась за его ветки.

Долго ли так, коротко ли, замутился зеленый омут, поднялась над водой косматая голова, фыркнула, поплыла и вылезла на берег кикимора. На каждой руке ее по пяти больших головых младенцев—игошей—и еще один за пазухой.

Села кикимора на корягу, кормит игошей волчьими ягодами. Младенцы едят, ничего,—не давятся.

— Теперь твоя очередь, — густым голосом сказала кикимора и вынула из-за пазухи ребеночка.

— Дуничка!— едва не закричала Моря.

Смотрит на звезды, улыбается Дуничка, сосет лохматую кикиморину грудь.

А леший высунул сучок корявый да за ногу кикимору и схватил...

Хотела кинуться кикимора в воду—никак не может:

Игоши рассыпались по траве, режут поросычьими головами, дрыгаются.—Вот пакость!

Моря схватила Дуничку—и подавай Бог ноги.

— Пусти—я девчонку догоню, — взмолилась к лешему кикимора.

Стучит сердце. Как ветер, летит Моря. Дуничка ее ручками за шею держит...

Уже избушка видна... Добежать бы...

А сзади—погоня: мчится кикимора, визжит, на саженьверху подсигивает...

— Бабушка!—закричала Моря.

Вот, вот хватит ее кикимора.

И запел петух: „кукуареку, уползай, ночь, уводи нечисть!“

Осунулась кикимора, остановилась и разлилась туманом, подхватил ее утренний ветер, унес за овраг.

Бабушка подбежала. Обняла Морю, взяла Дуничку на руки. Вот радости-то было.

А из яра хлопал деревянными ладошами, хохотал старый дед-леший. Смешливый был старичок.

ДИКИЙ КУР.

В лесу по талому снегу идет мужик, а за мужиком крадется дикий кур.

„Ну“, думает кур, „ухвачу я его“.

Мужик спотыкается, за пазухой булькает склянка с вином.

— Теперь,—говорит мужик,—самое время выпить, верно?

— Верно!—отвечает ему кур за орешником...

— Кто это еще разговаривает?—спросил мужик и остановился.

— Я.

— Кто я?

— Кур.

— Дикий?

— Дикий...

— К чему же ты в лесу?

Кур опешил:—Ну, это мое дело, почему я в лесу, а ты чего шляешься, меня беспокоишь?

— Я сам по себе, иду дорогой...

— А погляди-ка под ноги.

Глянул мужик—вместо дороги ничего нет, а из ничего нет торчит хвост петушиный и лапа—кур глаза отвел.

— Так,—сказал мужик,—значит, приходится мне пропасть.

Сел и начал разуваться, снял полушубок.

Кур подскочил, кричит:

— Как же я тебя, дурака, загублю? Очень ты покорный.

— Покорный,—засмеялся мужик,—страсть, что хочешь делай.

Кур убежал, пошептался с кем-то, прибегает и говорит:

— Давай разговляться, подставляй шапку,—повернулся к мужику и снес в шапку яйцо.

— Отлично,—сказал мужик,—давно бы так.

Стали яйцо делить. Мужик говорит.

— Ты бери нутро,—голодно, чай, тебе в лесу-то, а я шелуху пожую.

Ухватил кур яйцо и разом сглотнул.

— Теперь,—говорит кур,—давай вино пить.

— Вино у меня на донышке, пей один.

Кур выпил вино, а мужик снеговой водицы хлебнул.

Охмелел кур, песню завел—орет без толку...

Сигать стал с ноги на ногу, шум поднял по лесу, трескотню.

— Пляши и ты, мужик...

Завертел его кур, поддает крылом, под крылом сосной пахнет.

И очутился мужик у себя в хлеву на теплом назме...

Пришла баба от заутрени...

— Это ты так, мужик, за вином ходил...

— Ни-ни,—говорит мужик,—маковой во рту не было, кур дикий меня путал.

— Хорошо,—говорит баба и пошла за кочергой. Принесла кочергу да вдруг и спрашивает:

— Ну-ка повернись, что это под тобой?

Посмотрела, а под мужиком лежат червонцы.

— Откуда это у тебя?

Стал мужик думать:

— Вот это что,—говорит,—кур это меня шелухой кормил...

Дай Бог ему здоровья...

И поклонились мужик да баба лесу и сказали дикому куру—спасибо.

ПОЛЕВИК.

На току, где рожь молотят,—ворох; ворох покрыт пологом, на пологу—роса. А под пологом девки спят...

Пахнет мышами, и на небе стоит месяц.

По току шагает длинный Полевик, весь соломенный, ноги тонкие...

— Ну, ну,—ворчит Полевик,—рожь не домолотили, а спят.

Подошел к вороху, потянул за полог:

— Эй, вы, разоспались, заря скоро!

Девки из-под полога высовывают головы, шепчут:

— Кто это, девоньки, или приснилось? Никак светает скоро.

Дрожат с холоду, просыпаются.

На хуторе за прудом кричат петухи.

К молотилке шагает Полевик; под молотилкой, накрывшись полушубками, спят парни.

Постаскал с них Полевик полушубки:

— Вставайте, рожь не домолочена.

Парни глаза протирают...

— Свежо, ребята, ай вставать пора...

На току ворошится народ, натягивают полушубки да кацавейки, ищут кто—вилы, кто грабли...

Холодеет месяц.

А Полевик уж в поле шагает.

— Голо, голо,—ворчит Полевик,—скучно.

Ляжет он с тоски в канаву, придет зима, занесет его снегом.

ИВАН-ЦАРЕВИЧ И АЛАЯ-АЛИЦА.

Скучно стало Ивану-царевичу, взял он у матушки благословение и пошел на охоту. А итти ему старым лесом.

Настала зимняя ночь.

В лесу то светло, то темно; по спелому снегу мороз потрескивает.

Откуда ни возьмись, выскочил заяц; наложил Иван-царевич стрелу, а заяц обернулся клубком и покатился. Иван-царевич за ним следом побежал.

Летит клубок, хрустит снежок, и расступились сосны, открылась поляна, на поляне стоит белый терем, на двенадцати башнях—двенадцать голов медвежьих... Сверху месяц горит, переливаются стрельчатые окна.

Клубок докатился, лунь-птицей обернулся: сел на воротах. Испугался Иван-царевич, —вещую птицу застрелить хотел,—снял шапку:

— Прости глупость мою, лунь-птица, невдомек мне, когда ты зайцем бежал.

— Меня Алая-Алица, ясная красавица, жижова пленница за тобой послала,—отвечает ему лунь-птица, —давно стережет ее старый жиж.

— Войди, Иван-царевич, — жалобно прозвенел из терема голос.

По ледяному мосту пробежал, распахнул ворота Иван-царевич — оскалились медвежьи головы. Вышиб ногой дверь в светлицу: видит — на нетопленной печурке сидит жиж, голова у него медная глазами ворочает:

— Ты зачем объявился? или две головы на плечах? — зарычал жиж.

Прицелился Иван-царевич и вогнал золотую стрелу между глаз старому жижу.

Упал жиж, дым повалил у него из рта, вылетело красное пламя и поняло терем. Иван-царевич побежал в светлицу. У окна серебряными цепями прикована сидит Алая-Алица, плачет... Разрубил цепи, взял Иван-царевич на руки царевну и выскочил с ней в окошко.

Рухнул зимний терем и облаком поднялся к синему небу. Сбежал снег с поляны, на земле поднялись, зацвели цветы. Распустились по деревьям клейкие листья.

Откуда ни возьмись — прибежали тоненькие, синие еще от зимнего недоеда, русалки-мавки, закачались на деревьях; пришел журавль на одной ноге; закуковала кукушка; лешие захлопали в деревянные ладоши; позык аукался.

Шум, гам, пение птичье...

И по синему небу раскатился, загрохотал апрельский гром.

И узнали все на свете, что Иван-царевич справляет свадьбу с Алой-Алицей, весенней царевной.

СОЛОМЕННЫЙ ЖЕНИХ.

Внизу овина, где зажигают теплыны, в углу темного подлаза лежит, засунув морду в земляную нору, черный кот.

Не кот это, а овинник.

Лежит, хвостом не вильнет — пригрелся. А на воле — ступено.

Прибежали в овин девушки, ногами потопали:

— Идемте в подлаз греться.

Полегли в подлазе, где дымом пахнет, близко друг к дружке, и завели такие разговоры, что — стар овинник, а чихнул и землей себе глаза запорошил.

— Что это, подружки, никак чихнуло, — говорят девушки.

Овинник рассердился, что глаза ему запорошило, протер их лапой и говорит:

— Ну-ка, иди сюда, которая нехорошие слова говорила! Каждая девушка на себя подумала и ни одна ни с места.

— Ну, что же,—говорит овинник,—или мне самому вылезать?

И стал из норы пятиться...

Тут одна догадливая да бедная, сирота Василиса, взяла ржаной сноп, прикрыла его платком и поставила впереди всех:—Вот тебе!..

Выскочнул из норы овинник, пыхнул зелеными глазами и стал сноп рвать, а девушки из овина выбежали и—на деревню, а та, что подогадливее—Василиса—схоронилась за ворох соломы и говорит оттуда:

— Черный кот, старый овинник, что со мной делаешь,—все тело мое изорвал.

Фыркнул овинник, отскочил и кричит:

— Очень я злой, погоди—отойду, тогда разговаривай.

Подождала Василиса и говорит опять:

— Отошел?

— Отхожу, сейчас, только усы вылижу... Ну, что тебе надо?

— Залечи мне раны...

Фыркнул кот в землю, лапой пыль подхватил и мазнул по снопу.

А сноп так и остался снопом...

— Так ты меня обманула?—говорит кот, а самому уж смешно.

— Обманула, батюшка,—отвечает ему Василиса,—прости, батюшка, да смилуйся—найди мне жениха, чтобы краше его на свете не было.

— Уж больно я сам-то урод,—говорит овинник.—Ну да ладно.—И ударился о землю и стал из черного кота—кот белый и хвостом Василису пощекотал...

— Чем тебе не жених?

— Нет,—говорит Василиса,—за кота замуж не пойду; дай мне жениха настоящего.

Подумал овинник, походил по овину,—мышь походя сожрал. Вдруг подскочил к ржаному снопу, заурчал, облизал его, чихнул три раза и сделался из снопа—человек.

— Получай жениха,—говорит Василисе овинник.—Смотри—от сырости береги, а то прорастет.

Василиса взяла человека за руку и вывела его из подлаза, из овина на лунный свет. И встал перед ней молодой жених в золотом кафтане, в шапке с пером. Глядит на Василису и смеется. Василиса поклонилась ему в пояс—и они пошли в избу.

Прошло с той поры много дней. Лег снег на мерзлую землю, завывали студёные ветра, поднялись вьюги.

Соломенный жених живет у Василисы, похаживает по горнице, поглядывает в окошечко и все приговаривает:

— Скучно мне, темно, холодно...

И стала Василиса замечать, что жених ее портится, позеленело у него на кафтане и на сапожках золото, ночью стал кашлять, стонать во сне. Раз утром слез с кровати, подпоясался и говорит:

— Уйду, Василиса, искать теплого места.

— А я-то как же?..

— Ты меня жди.

И ушел, только снег скрипнул за воротами.

Жених идет, весь от инея белый. Кругом него мороз молоточками постукивает—крепко ли закована земля, не взломан ли синий лед на реке; по деревьям попрыгивает, морозит зайцам уши.

Хочет жених от мороза уйти, а молоточки все чаще, все больнее постукивают,—по жилам, по костям. Остудился жених, а степь бела кругом, ровна.

И повисло над степью, над самым краем солнце, красное и студеное. Жених к солнцу бежит, колпаком машет:

— Погоди, погоди, возьми меня в зеленые луга.

И добежал было. Вдруг выскочил из-под снега большой, косматый, крепколобый волк, доскакал большим махом до солнца, обхватил его лапами, прижался пузом,—с одной стороны, с другой приловчился и вонзил клыки в алое солнце.

Завизжали, застучали ледяные молотки, потемнела степь, завыл мертвый лес. Соломенный жених бежать пустился, упал в снег и не помнит, что дальше было.

Василиса, когда одна осталась, пораскинула бабьим умом и пошла к старому овиннику. А чтобы он не очень сердился, сунула под нос ему пирог с творогом и говорит:

— Жених от меня убежал, должно быть, замерз, очень жалею его.

— Ничего,—отвечает ей овинник,—жених твой в озимое пошел.

— А я-то как же?

— Найдешь ты жениха в чистом поле, ляг с ним рядом, а что дальше будет—сама увидишь.

Пошла Василиса в поле, долго шла, не день и не два. Видит большой сугроб, разрыла его руками, видит—лежит под снегом жених.

Упала на него Василиса, омочила лицо ему слезами; жених не шевелится.

Тогда легла она с ним рядом и стала глядеть в зимнее, в белое небо.

Снег Василису порошит, молоточки в сердце бьют, обручи набивают на тело, и говорит Василиса:

— Желанный мой.

И чудится ей—голубеет, синее небо, и из самой его глубины летит к земле, раскаляясь, близится молодое, снова рожденное, солнце.

Заухали снега, загудели овраги, ручьи побежали, обнажая черную землю, над буграми поднялись жаворонки, засвистели серые скворцы, грач пришел важной походкой, и соломенный жених открыл сонные синие глаза и привстал.

Проходили мимо добрые люди, сели на меже отдохнуть и сказали:

— Смотри, как рожь всколосилась, а с ней переплелись васильки цветы...

Душисто...

СТРАННИК И ЗМЕИ.

Багряное солнце садилось за мерзлым бурьяном, скрипели журавли у колодцев, вдова Акулина пела у окошка горемычную песню, а по деревне проходил странник. Полушубок на нем древний, из дыр овчина торчит, лыковая котомка за плечами.

Ни молод странник, ни стар, а взглянешь на него—под усами умильная улыбка, глаза серые, ласковые, смешливые.

Подходит он к Акулиному двору, шаку снял и говорит ласково:

— Скучно тебе, милая.

Увидала странника Акулина, кинулась за ворота:

— Странник Божий, взойди, сделай милость.

Взошел странник, сел на лавку. Угощает его вдова, а сама пытается—откуда да куда, не слыхал ли про счастье: лежит, говорят, оно в океане, под горячим камнем.

Странник наелся, напился, ложку положил и спрашивает.

— Ну, а ты милая, все—маешься?

Забилась Акулина на лавке:

— Такая маета—сказать не можно: сушит змей белое мое тело, сосет сердце, ночи до утра глаз не смыкаю, а в полночь свистнет над крышей, рассыпется искрами и встанет на дворе, не зверь, не человек...

Улыбается странник, светятся глаза его.

— Силен враг, Акулина, трудно тебе, трудно. А ведь свистнет—опять побежишь?...

Заголосила Акулина.

— Страшно мне, ночь придет, сама ко врагу потянусь, а днем руки бы на себя наложила.

Погладил ее по голове странник, и затихла молодая баба.

— Тетенька Акулина,—позвал в окно девичий голосок,—на посиделки тебя кличут, пойдешь?

А потом поглубже заглянул любопытный глаз.

— Ты и странника приведи, сказку скажет!

Рассмеялась и убежала, а странник говорит:

— Что же, Акулина, пойдем, куда зовут.

Акулина ушла за перегородку прибираться, а странник у окна запел:

Ходила во синем море,
Ходила белая рыба,
Ходила, била плесом
По тому ли синю морю:
Ты раздайся, синее море,
На две волны, на два берега
Ты выплесни, выкини
Алатырь, горюч камень.

Слушает, вздыхает Акулина за перегородкой; прибралась, вышла,—красивая, глаза мрачные:

— Ну, пойдем, странник.

Пришли на посиделки.

А там народу набилось, как грибов в лукошко; тренькают на балалайке, подплясывают, подпевают, шутки шутят, и в сенях, и на лавках, и на печи—понабились.

Странника обступили, просят:

— Спой нам, скажи сказку.

Странник сел у двери и запел опять про то же:

Ходила во синем море,
Ходила белая рыба.

Пригорюнились девицы, подсели к парням. Кто с печи голову свесил, кто с палатей. Расселись парами—стало тихо. Одна Акулина без друга, как куст обкошенный. Сдвинула брови, белая кипень, стоит посреди избы, под сарафаном грудь ходуном ходит.

— Акулина, Акулина, обойдись,—говорит странник.

А у нее глаза уж, как озеро. Дрожит дрожью.

В это время просвистел за окном змеиный свист.

Дрогнула Акулина и—к двери.

— Не ходи, Акулина!

— Пусти!

Выскочила на улицу; странник за ней, и схоронился в сенях. Акулина стала посреди двора и шепчет:

— Лети... лети.

И со свистом, как от тысячи птиц, закружился над двором черный змей, раскинул крылья, опустился на снег.

Встал на лапы, лебединую голову протянул к Акулине, и языком—облизнул ей белос лицо.

А странник подкрался, оттолкнул Акулину да змея по голове лестовкой и ударил.

Взметнулся змей и рассыпался просом, а странник петухом обернулся—зерна клевать.

Не дала ему, упала на петуха Акулина, ухватила за крылья, и в избу поволокла.

— Оборотень,—закричала Акулина,—рубите ему голову.

Петух вырвался--да под лавку, крыльями бьет, в руки не дается.

Заметался народ по избе, петуха ловят. Поймали, у Акулины и топор в руках.

— Клади его на порог!

Вытянули за голову, за ноги петуха. Размахнулась Акулина топором... Да так и застыла у нее рука.

Пропали стены. Вместо девушек--березы в инее, парни--ели, а Акулина--ива плакучая, вся в сосульках.

На пне сидит странник. Улыбается, сияют серые глаза. Возле на снегу лежит петушиное перо.

Поднял странник перо, пустил по ветру, сказал:

— Лети, перышко, где сядешь, туда и я скоро приду; много еще мне исходить осталось, увертлив змей, не пришло его время.

ПРОКЛЯТАЯ ДЕСЯТИНА.

Клонит ветер шелковые зелены, солнце в жаворонковом свисте по небу летит, и от земли идет крепкий, ржаной дух.

Одна только невсхожая полоса с бугра в лошину лежит черной заплатой--десятина бобыля...

У десятины стоит бобыль; ветер треплет непокрытую его голову.

— Эх,—говорит бобыль,—третий год меня мучаешь, проклятая!—Плюнул на родную землю и пошел прочь.

Проходит неделя. В четверг после дождя встречает бобыля шабер и говорит ему:

— Ну, брат, и зелены же у тебя,—все диву даемся, ужо заколосятся...

— Врешь! --сказал бобыль...—И побежал на свою десятину.

Видит--выпустили зелены трубку, распахнули лист, и шумит усатый пшеничный колос.

На чудо не надивуется бобыль, а кошки сердце поскребывают: зачем проклинал родную землю.

Собрал бобыль урожай сам-тридцать; из пудовых снопов наколотил зерна, и муку смолот, и замесил из первого хлеба квашню, и лег подремать на лавке...

Ночь осенняя бушевала ледяным дождем, хлопали наотмашь ворота, выл в трубе ветер.

В полночь поднял бобыль голову и видит -- валит из квашни дым. Надувшись, слетела покрывка, и поползло через края проклятое тесто, рассыпалось на полу землей...

Смекнул бобыль, что с мукой-то не ладно, повез мешки в город к старому пекарю...

Пекарю муку эту продал, деньги зашил в шапку; потом шапку распорол и деньги все пропил, и, когда домой собрался, не было у него ни денег и ни подводы,—один нос разбитый.

Пекарь в то же время замесил из бобылевой муки кренделя, поставил в печь и когда пришло время,—вытащил на лопате не подрумяненные кренделя, а такие завитушки и шевырюшки, что тут же обеспамятел и послал жену к дворянину продать муку за сколько даст.

Дворянин сидел в саду, одной рукой держал наливное яблочко, другой писал записки.

— Что тебе, милая? — сказал дворянин тонким голосом и прищурился.

— Насчет пшеничной муки, — сказала пекарева жена, — старик-то мой больно плох...

Купил дворянин в долг проклятую муку и пригласил детей дворянских пирожки с вареньем кушать.

Под сиреневым кустом сели дворянские дети, взяли каждый по пирожку и откусили, а в пирожке лапти—крошенные, старые онучи, щепки,—всякая дрянь.

Побросали дворянские дети пирожки и подали на дворянина в суд.

Прослышал про все это дело король и сказал:—Я их всех сам буду судить. — И встали перед светлые его очи: дворянин, пекарь и бобыль... Бобыль как встал, так и глаза разинул и босой ногой почесал ногу.

Король велел объявить все, как было. Выслушал. Державой и скипетром потряс и говорит:

— Проклял ты, бобыль, родную землю, и за то тебе будет наказание великое.

И приказал мужика отвести вместе с мукой на проклятую десятину, чтобы всю муку приел... Так и сделали... Посадили бобыля посреди его земли и ковшом в рот стали муку сыпать. Три раза попросил бобыль водицы, целую меру приел.

Приел, и распучило. Руки растопырились и одеревенели, через колени на землю поплыл живот, и полезли из бобыля шипы, а волосы стали дыбом, как репей.

Кругом бобыля порос густой и непролазный бурьян по всей десятине.

И долго спустя слышали в колючих порослях—жевало и ухало: то, сидя на земле, ел и проесть не мог проклятую муку проклятый бобыль.

ЗВЕРИНЫЙ ЦАРЬ.

У соседа за печкой жил мужичок-с-локоток.

Помогал соседу кое-чем, понемножку. Плохое житье на чужих хлебах.

Взяла мужика тоска, пошел в клеть; сидит, плачет. Вдруг видит—из норы в углу высунулась мордочка и повела поросычьим носом.

„Анчутка беспятый“, подумал мужичок и обмер.

Вылез анчутка, ухо наставил и говорит:

— Здравствуй, кум!

„Какой я ему кум“, подумал мужичок, и на случай поклонился.

— Окажи, кум, услугу,—говорит анчутка,—достань золы из-под печки; мне через порог перейти нельзя, а золы надо—тещу лечить—плоха, обжелась мышами.

Мужичок сбежал, принес золы, анчутка его благодарит:

— За службу всыплю я тебе казны, сколько в шапку влезет.

— На что мне казна,—отвечает мужичок,—вот бы силой поправиться!

— Это дело пустое, попроси звериного царя...

И научил анчутка, как к звериному царю попасть и что говорить нужно.

Мужичок подумал—все равно так-то пропадать, и полез в крысиную нору, как его учили.

Там темно, сыро, мышами пахнет. Полз, полз—конца не видно, и вдруг полетел вниз, в тартарары. Встал, почесался и видит вода бежит и привязана у берега лодочка.

Сел мужичок в лодочку, отпихнулся и завертелся, помчался—держи шапку.

Над головой совы и мыши летают, из воды высовываются такие хари—во сне не увидишь.

Наконец, загорелся свет, мужичок пригреб к берегу, выпрыгнул на траву и пошел на ясное место. Видит—высоченное дерево шумит и под ним, на семи шкурах, сидит звериный царь.

Вместо рук у царя—лопухи, ноги вросли в землю, на красной морде тысяча глаз.

А кругом—звери, птицы и все, что есть на земле живого—сидят и на царя посматривают. Увидал мужичка звериный царь и закричал:

— Ты кто такой? тебе чего надо?

Подошел мужичок, кланяется:

— Силешки бы мне, батюшка звериный царь...

— Силу или половину?

— Осмухи хватит.

— Полезай ко мне в брюхо!

И разинул царь рот, без малого—с лукошко.

Влез мужичок в звериный живот, притулился, пуповину нашел, посасывает.

Три дня сосал.

— Теперь вылезай,—зовет зверь,—чай уж насосался.

Вылез мужичок, да уж не с локоток, а косая сажень в плечах, соболю брови, черная борода.

— Доволен?—спрашивает царь...— Выйдешь на волю, поклонись чистому полю, солнцу красному, всякому жуку и скотине.

И дунул. И подхватили мужика четыре ветра, вынесли к мосту, что у родного села.

Солнце за горку садится, стадо гонят, идут девки...

Подбоченился мужик и крикнул:

— Эй, Дунька, Акулина, Марья, Василиса, аль не признали?

Девки переглядываются.

А мужик тряхнул кудрями:—Теперь,—говорит,—пир горой, посылай за свахой. Я теперь самого звериного царя меньшей сын.

Девки так и сели. А мужик выбрал из них самую румяную да на ней и женился.

Х О З Я И Н.

В конюшне темно и тепло, жуют сено лошади, стукнет по дереву подкова, цепь недоуздка зазвенит, или скрипнет перегородка—караковый почесался.

В узкое окно влезает круглый месяц.

Лошади беспокоятся.

— Опять подглядывает месяц-то, — ржет негромко вороной, —хоть бы козел пришел,—все не так страшно.

— Козла „хозяин“ боится,—сказал караковый, — а месяц сам по себе, его не напугаешь.

— Куда это козел ушел?—спросила рыжая кобыла.

— На плотину, в воду глядеть.

Кобыла храпнула:—К чему в воду глядеть? Одни страсти.

— Страшно мне,—зашептал вороной,—месяц в окно лезет. Схватить его разве зубами?

— Не трогай, — ответил караковый, — захромаешь. Кобыла жалобно заржала.

В конюшне—опять тихо. На сеновале возятся мыши.

Захрапел вдруг, шарахнулся вороной, копытами затопал.

— Смотрите, смотрите, месяц-то,—зашептал он,—и рога у него, и глаза.

Дрогнул караковый:—А борода есть?

И борода венником.

Караковый захрапел:—„Хозяин“ это, берегись.

И вдруг клубком из окошка скатился в стойло вороному старичок и засмеялся, заскрипел.

Вороной стал, как вкопанный, мелкой дрожью дрожит.

Рыжая кобыла легла со страха, вытянула шею.

Караковый забился в угол.

— Вороненький, соколик, — заскрипел „хозяин“, — гривку тебе заплету, — боишься меня? А зачем козла звал?.. Не зови козла, не пугай меня... — и, с вывертом, с выщипом ухватил вороного.

Вороной застонал.

— Стонешь? Не нравится? А мне козлиный дух нравится!.. Идем за мной.

Старичок отворил дверь и вывел за гриву вороного на двор.

— Голову-то не прячь, — скрипнул он и ущипнул за губу.

Вспрыгнул на холку, и помчались в поле.

Караковый подбежал к окну.

— Ну и лупят... пыль столбом... под горку закатились. Смотри-ка. На горку вскакнули, стали; „хозяин“ шею ему грызет; лягается вороной; поскакали к пруду.

В конюшню вошел козел и почесался.

— Гуляешь, — крикнул козлу караковый, — а вороного „хозяин“ гоняет.

— Где? — спросил козел басом.

— У пруда.

Опустил козел рога и помчался...

Перебежал плотину, стал — кудластый, и пошел от козла смрад — в пруду вода зашевелилась, и отовсюду, из камышей, из-под ветел, повывезла вся нечисть болотная, поползла по полю, где вороной под „хозяином“ бился.

Заблеял козел.

И от этого „хозяин“ на лошади, как лист, забился, ноги поджал.

Подползает нечисть, блеет козел.

Побился, покружился „хозяин“ и завял, свалился с коня. Ухватили его лапы, потащили в пруд. А вороной, оттопырив хвост, помчался в конюшню. Прибежал в мыле, захрапел, ухватил сено зубами, бросил и заржал на всю конюшню:

— И как только я жив остался!

А, спустя время, пришел козел и лег в сено.

— Ноги у меня отнялись, — стонала рыжая кобыла.

Караковый положил морду на шею вороному, а козел чесался — донимали его блохи.

С И Н И Ц А.

Утром рано, на заре, до птиц, пробудилась княгиня Наталья. Не прибираясь, — только накинула белый опашень, — отомкнула дверь из светлицы и вышла на мокрое от росы крыльцо.

Ничего не жалел для Натальи, для милой своей хотя, князь Чурил: выстроил терем посреди городища, на бугре между старых кленов; поставил на витых столбах высокое крыльцо, где сидеть было не скучно, украсил его золотой маковкой, чтобы издали горела она, как звезда, над княгининой светлицей.

В тереме зачала Наталья и родила хозяину сына Заря-слава. Было ему ныне три зимы и три лунных месяца. Любил князь жену и сына и шумного слова им не сказал во всю бытность.

Городище стояло на речном берегу, обнесенное тыном, рвом и раскатами. Внутри, дым к дыму — срублены высокие избы. И выше всех — восьмишатровый красный княгинин терем. Бывало, плывут по реке в дубах торговые люди, или так — молодцы пограбить, завалются у гребцов колпаки, глядят: город не город — диво, — пестро и красно, и терем, и шатры, и башни отражаются в зеленой воде днепровской и начнут пригребаться поближе, покуда не выйдет на раскат князь Чурил, погрозит кулаком. Ему кричат:

— Ты, рвана шкура, слезай с раската, давай биться!

И пошлют, смеха ради, стрелу или две.

Далеко шла слава про князя: сорок воинов стоит у его стремени; одни сивые, в рубцах, вислоусые Руссы, северные наемники, побывавшие не раз и под Царьградом; другие — свои, поднепровские, молодец к молодцу, охотники и зверобои. Богат, хорошо нагорожен город его Крутояр.

Ныне князь отъехал по зверя. В городище бабы остались с ребятами да старики. Шуму нет, тихо. Княгиня Наталья прислонилась непокрытой головой к столбу, сидит и слушает. Внизу журавель заскрипел — сонная девка тянет из колодца воду; собрались воробьи на огороде, зачирикали — собираются по ягоду; идет поперек улицы собака с мочалой на шее, стала и давай зевать; птицы и птички пробуждаются, не смеют еще петь до солнца, голос пробуют, голоса подают; заиграл рожок у северных ворот, замычали коровы, потянуло дымком. И заря за речкой обозначилась сквозь речные туманы бледными, алыми, водянистыми полосами. Сильная сегодня роса! А уж кукушка из лесу — ку-ку.

Княгине охоты нет пошевелиться, точно сон оковал ее. Поднялась рано, сама не знает зачем, и все ей грустно — и глядеть и слушать. Так бы вот и заплакала. А с чего? Князя ли ждалась? Третий день по лесам скачет. Сына ли жалко — уж очень беленький мальчик. Мило ей все и жалко.

Княгиня в углу крыльца нагнула каменный рукомойник, омыла лицо, взглянула еще раз на кровли и башенки Крутояра, на реку, проступающую синей, синей водой из-под тумана, и вошла назад в сонную, теплую светелку.

В колыбели спал княжич, выпростал руки поверх одеяла, дышал ровно, хорошо, так весь и заливался румянцем.

Княгиня присела на лавку, опустила голову на колыбель, и слезы полились у нее. Плачет и сама шепчет:

— Вот уж с большого-то ума.

И такую жалостью залюбилà сына, что душа ее поднялась, окутала колыбель, прильнула к спящему, а тело оцепенело. На молодую княгиню напал глубокий, непробудный сон.

И не услышала она, как вдруг начали кричать птицы, садясь на крышу: „проснись, проснись“, как завывали, заскулили собаки по всему городищу, захлопали ставни, побежал куда-то народ, как у всех четырех ворот забили в медные доски, и пошла тревога: „на стены, на стены!“

Большое, тусклое, красное солнце поднялось в клубах тумана, и народ со стен, дети, старики,—увидали великую силу людей, малых ростом, с рыжими космами, в шкурах: Чудь белоглазую. Пробиралась Чудь от дерева к дереву, окружала городище, махала дубинками и с того берега плыла через реку, как собаки.

— На стены, на стены! — звали старики, тащили на раскаты бревна, камни, в колодах горячую воду.

— Чудь идет, Чудь идет! — выли бабы, мечась, хороня ребят в клетки, в погреба, зарывали в солому.

А Чудь уже лезла через тын, карабкалась на раскаты, визжала. В замковую башню-детинец кидала стрелы, камни, паклю горящую. И задымился угол у башни, и закричали:

— Огонь! Лихо нам!

Били с раскатов Чудь, долбили по башкам, порошили песком в глаза, обливали варом, пыряли шестами. А те только орали шибче. Лезли, падали, опять лезли, как черви. Да и где было справиться с белоглазыми одним старикам да малолеткам. Одолеl враг, добрался до раскатов. Покидали защитников, и разбежалась Чудь по городу, и начался другой клич—бабий и детский.

Потоптали в ту пору, побили много народа, остальных погнали за стены на луг. Рвали на бабах рубахи. Было горе.

С четырех концов пылал Крутояр, брошенный на поток. Из огня тащили одежду, птиц, поросят, малых детей. Ярилась Чудь. Многие сами погорели, волоса попалили. И добрались до княжьего терема.

Но высок был тын кругом и ворота крепки. Ударили в них бревном—не поддались. А головни, искры, солому так и крутило, обдавало жарким дымом. И занялся терем, задымил.

Тогда с долгим стоном пробудилась княгиня Наталья, повела очами, дико ей стало, кинулась к окну—дым в лицо пахнул, глаза выел. Схватила княжича, прикрыла его платком: „Заряслав, сын милый, спи, спи, батюшка“, и выбежала на крыльцо, и обмерла.

Внизу трещало, било пламя, дымили крыльца, занимался огонь под крышей. А кругом все маковки, крыши, избы, шатры—

в огне. Дым бьет высоко и стелется над Днепром. И еще видит княгиня — над тыном поднялись плоские рыла, кажут на нее, скалятся.

И было ей тошно от смертного часа.

Заряслав забился на руках, заплакал, рвет с лица покрывало. В спину дунуло жаром. И у княгини захватило дух, стало горячо на душе. Подняла она сына к лицу, положила руки его на одно плечо свое, на другое ноги, вдохнула в последний раз запах милый и человеческий и кинулась с высокого терема. И убилась! И мертвыми руками все еще держала Заряслава, не дала ему коснуться земли. Наскочили Чудинцы, вырвали княжича, понесли на луг, пялили зенки на мальчика, кукиши совали ему, а не тронули, чтобы живым отнести к жрецу своему в Чудь, на озеро.

Легкою бабочкою вылетела душа княгини Натальи из разбитого тела. И раскрытые ее глаза, еще подернутые мукой, озираясь, видели голубой свет, переливающийся, живой и животворящий. Радостней, радостней, выше становилось душе. Чаше, зорче глядели глаза. И вот слышимы стали звуки, звоны, шумы, звенения, глухие раскаты, грохоты. Трепетал весь свет в бездне бездн. Роились в нем водянистые пузыри, отсвечивали радужно и, звуча и звеня, свивались в вихри, бродили столпами.

И вот уже трепещет душа. Нестерпимо глазам от сияния, от радостного ужаса: покрывая все звуки, весь свет, по всей широте шумит весенним громом голос:

— „Да будет жизнь во Имя Мое“.

Так мчится к Господу светлая душа княгини Натальи. Но чем ближе ей, слаще, радостней — тем пронзительней боль, как жало невынутое. Зачем боль? О чем память? И глубже входит жало, и тяжелеет душа, глохнет, слепнет, и глаза снова подергиваются смертной любовной пеленой. На землю опускается душа княгини, на пепелище. Как жернов — любовь. Где Заряслав? Где сын милый?

Белоглазая Чудь возвращалась на свое озеро без троп и следов, — скорее бы только ноги унести. Волокли добычу. Гнали полонянок с детьми. Княжича тащили в плетеном пещуре. Шли день и ночь, и еще день, и настала вторая ночь — темная. Погони теперь не страшно, и Чудь полегла во мху, запалила костры от диких собак, что, учуяв поживу, подвывали по зарослям.

Колдун, старикашка гнусный, залез в горелый пенёк, бормотал заклятья. Кишмя здесь кишела нежить и нечисть, хорошилась за стволы, кидалась в траву, попискивала, поерзывала. То чиркнет глазом, то лапой тронет, а то уйдет колом в землю, а вынырнет в омуте, посреди болота, состроит пакость и начнет хмыкать, хихикать.

Не любила Чудь смеха и шуток таких. Молчали, мясо вяленое ели, остерегались. Полонянки давно уж плакать пере-

стали, в волю приняли горя. Один Заряслав спал спокойно в пещуре: тепло укрыла его княгиня Наталья сладким сном.

Укрыла, а сама понеслась клочком тумана по лесу над мхами и омутами, сквозь тяжелые от влаги деревья. Вверху за сучьями вывездило, скоро и заря. Из-под вывороченной коряги высунул нечесаную морду леший и спрятался; на бугорке у норы лиса с лисятами увидала летящее облако, сморщила нос и зевнула, завилала хвостом.

А вот и стреноженные кони фыркают, шиплют траву. Вповалку, завернутые с головой в попоны, спят воины. Князь Чурил лежит, опершись локтем о седло; суровые глаза его открыты, думает; проснулся перед зарей, отер усы от росы и раздумался о славе своей, о былых сечах, о том, что нет ни у кого ни города такого, ни жены такой, ни сына. От этих дум заворочался Чурил: „Все ли ладно дома?“

И видит — стелется у ног облачко. „Сыро, — думает, — кольчуга проржавеет“, — и потянул на себя попону. А сон летит с глаз: „От двора далеко отъехали, как бы не было чего злого?“ Мочи нет. Поднялся Чурил, подтянул ремень на живот.

— „Эй, ребята, заспались, заря скоро!“

Зачесались воины, поскидали попоны, разбрелись за конями. Оседлали. Тронулись.

Чурил едет впереди, шагом. Совестно перед ребятами: заладились охотиться недели на две, а сейчас глаза бы не глядели на зверя. Сесть бы в княгининой светелке, Заряслава на руки взять... Милее жизни жена милая Наталья.

Воины ворчат: едет князь дуром, сучья дерут лицо, лунь-птица из-под коня шарахнулся, запутался в кустах, застучал клювом.

— „Эй, князь, спишь, что ли?“

Плывет, стелется облаком перед Чурилой княгиня Наталья, манит, мается. Рвут кусты легкое тело. Нет, не слышит князь, не чувствует. Усы закрутил. Осадил коня, оперся рукой о круп, говорит дружинникам, чтобы шли в заезд на тура, что давеча навалили густо валежнику у озера.

И княгиня отлетела от Чурила, понеслась по лесу, окинула взором чащобы, видит — лежит олень рогатый, морду опустил в мох, дремлет. И вошла в него, в сонного, похитила его тело, подняла на легкие ноги и оленем помчалась навстречу охотникам.

— Стой, — говорит Чурил, — большой зверь идет. — Подался с конем в кусты, отыскал в колчане стрелу поострее, вложил в самострел и, упершись в стремяна, натянул тетиву.

С шумом раздвигая кусты, выскочил олень. Стал, дрожа дрожью. Крупный самец! Рога, как ветви. Эх, жаль, темно, — не промахнуться бы. И князь чувствует — глядит на него олень в ужасе, в тоске смертной.

И только начал поднимать самострел—шарахнулся олень, побежал нешибким бегом, не мечась, только голову иногда обдернет к погоне. Умный зверь.

И сорок рогов затрубило по лесу. Го-го-го, — отозвалось далеко. Затрещало от топота валежник. Закричали сонные птицы. Воронье поднялось, закаркало. Стало светать.

Скакали долго. Кони вспенились. Княгиня Наталья видит—близко, близко, вон там за оврагом, залегла Чудь, может, уж и снялась со стана, заслышав рога. Не погубили бы Заря-слава. Поспеть бы. И повернула к оврагу. И заметалась: впереди, пересекая путь, выскочили всадники, окружили, машут копьями. Чурил поднял самострел, приложил к ложу худое, свирепое, любимое лицо.

„Остановись, остановись, — так бы и крикнула Наталья. И резкий, звериный вопль сам вылетел из груди. Запела стрела и впилась под лопатку у сердца. Олень осел на колени. Засмеялся князь. Вынул нож, лезет с седла, чтобы пороть зверя. Идет по мху. Споткнулся. Княгиня глядит на мужа глазами, полными слез. Чурил взял ее за рога, пригнул голову.

И чуда не было еще такого за всю бытность: олень, пронзенный стрелой, до самых перьев ушедшей в сердце, поднялся, разбросал рогами охотников, побежал, шатаясь, шибче, шибче, спустился в овраг, скачками поднялся на ту сторону, стал и глядит опять. Смотрит.

Усмехнулись в усы старые воины:

— Легка твоя стрела, князь, уйдет зверь.

Лихая досада! И опять поскакала охота.

Олень тяжелым уже скоком выбежал на поляну. Повсюду дымятся костры, раскиданы кости, тряпье. И за красные сосновые стволы хоронятся какие-то людишки, удирают.

— Чудь, Чудь!—закричали воины.

Здесь олень зашатался, опустил рога в мох и рухнул. Черная кровь хлынула из морды. И вылетела душа княгини, замученная второю смертью.

Чурил глядит на зверя. Дико ему на душе. Подскакал старый воин.

— Князь, князь, — говорит, — не твоей ли княгини эта кика?—и поднял копьем с земли рогатую, шитую золотом, кику, что сняли Чудинцы с волос Натальи.

Зашатался князь в седле. Кровь кинулась в голову, помутила ум. Сорвал рог с плеча, затрубил, швырнул его далеко и сам впереди, а за ним сорок дружинников. кинулись в угон за обидчиками. Порубили отсталых и настигли всю бегущую кучей Чудь, окружившую полонянок и добычу.

Много Чуди желтоволосой. Большая будет битва. Стали воины ругаться с врагами, кричат:

— Выходи, белые глаза! Утром слюни! Щепой пузо порем!

Ихний колдун, став на камень, поднял на руках Заряслава, погрозился, что живым не отдаст, если княжи начнут драку. Тогда Чурил прыгнул с коня и, прикрываясь локтем кольчужным от стрел, пошел биться. Наскочила на него Чудь. Завизжала Чудь. На выручку кинулись дружинники, пешие и конные. Запели стрелы. Начались крики. Лязгало железо. Хватались грудь о грудь. Была великая сеча.

С ножом, поворачиваясь, стряхивая наседающих, весь испоротый, исколотый, лез князь, как тур, добирался до колдуна.

Три раза отбрасывали Чурилу. Колдун, выставив бороду, бормотал, плевался, запакостился от страха. Все же князь достал его рукой и умертвил на месте. И стоял идиолом каменным над сыном. Выдергивал из себя стрелы. Убивал каждого, кто совался.

До полудня шла битва. Десять дружинников легло в ней смертью, а врагов не считали, и Чудь побежала, но немногие ушли через болота.

Дружинники стали кликать, собирать полонянок. Стали узнавать, кто жену, кто сына. Качали головами, хмурились. И вернулись все—воины, женщины, дети—гурьбой, на поле сечи, где бродили кони, торчали стрелы, шлемы валялись, люди убитые.

Князь Чурил лежал мертвым, с лицом суровым и спокойным, в руке зажат меч. Около него был мальчик, Заряслав. Над ним летала малая птица. Кружилась, попискивала, садилась на ветвь, трясла перьями, раззевала клюв.

Княжич, глядя на птицу, улыбался, ручкой норовил ее схватить. На ресницах Заряслава, на щеках его горели, как роса, слезы большими каплями.

Старейший из воинов взял княжича на руки и понес. Павших положили на коней, тронулись в обратный путь к Днепру, на пепелище. Впереди несли Заряслава, и птица, синяя синица, увязалась вслед. Ее не отпугивали—пусть тешится молодой князь. Шли долго.

У пепелища погребли усопших и замученных. Над водою, на высоком бугре, в дубовой, крытой шатром, домовине легли рядом князь Чурил с княгиней Натальей. Далеко под ногами их расстился ясный, синий Днепр, широко раскинулись луга, лесистое, озерное понизовье.

Близ могил стали строить новое городище, где быть князем Заряславу. Зазывали на подмогу вольных людей да пропивших животишки варягов. Осенью бегали за золотом к Хазарам в степи.

Заряславу разбили лучший шатер, покуда к заморозкам дыму не срубят. Мальчик глядел, как строили город, как пищу варили, как вечером большие люди садились над рекою, пели песни, молчали.

Женщины жалели мальчика, дружинники говорили: славный будет воин. Да что в том? Чужой лаской горечи не избу-дешь.

И одною утехою была Заряславу синяя синица. Совсем ручная. Ест ли мальчик, она—скок и клюнет из чашки. Играет ли, бродит ли по лугу—птица порхает около, на плечо сядет или падет перед Заряславом в траву, распушит крылья и глядит, глядит черными глазами в глаза. А то и надоест,—отмахнется от нее: ну, что пристала?

И не знает Заряслав, что в малой, робкой птице, в горячем сердце птичьем—душа княгини Натальи, родной матушки.

Прошла зима, снова зазеленели бугры и пуши, разлился Днепр, поплыли по нему, надувая паруса, корабли с заморскими гостями. Затрубили рога в лесах. Зашумели грозы.

Заряслав рос, крепкий становился мальчик. Играл уже отцовским мечом и приставал к дружинникам, чтобы рассказы-вали про битвы, про охоты, про славу князя.

А когда женщины гладили его по светлой голове, жалея, что растет без матушки—отталкивал руку:

— Уйди, — говорил, — уйди, а то побью, я сам мужик.

Однажды он побился с товарищами и сидел на крыльце сердитый, измазанный. Подлетела синица, покружилась и, чтобы заметил ее мальчик, вдруг прилегла к его груди, прижалась к тельцу.

— Ну, вот нашла время!

Взял Заряслав птицу и держал в кулаке, и думал, как бы ему подраться еще с обидчиками, а когда разжал пальцы—в руке лежала птичка мертвая, задушенная.

Богатырская будет сила у молодого князя.

Так в третий раз умерла княгиня Наталья светлой и легкой смертью.

Все было исполнено на земле. Душа легка. И окружили ее душу лучезарные, поющие, чудесной красоты, лица и по-несли в пределы вечного света.

СОРОЧЬИ СКАЗКИ

СОРОКА.

За калиновым мостом, на малиновом кусту калачи медовые росли да пряники с начинкой. Каждое утро прилетала сорока-белобока и ела пряники.

Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить.

Раз спрашивает сороку синичка-птичка:

— Откуда, тетенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место.

— А у чорта на кулижках,— отвечала сорока-белобока, обманула синичку.

— Неправду ты говоришь, тетенька,— пискнула синичка-птичка,— у чорта на кулижках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи—все равно выслежу.

Испугалась сорока-белобока, пожадничала, полетела к малиновому кусту и съела и калачи медовые, и пряники с начинкой, все до-чиста.

И заболел у сороки живот. Насилу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает...

— Что с тобой, тетенька?—спрашивает синичка-птичка,— или болит чего?

— Трудилась я,—охает сорока,—истомилась, кости болят.

— Ну, то-то, а я думала другое-что, от другого-что я средство знаю:—травя Сандрит, от всех болей целит.

— А где Сандрит-травя растет?—взмолилась сорока-белобока.

— А у чорта на кулижке,—ответила синичка-птичка, крыльшками детей закрыла и заснула.

„У чорта на кулижке одни сосновые шишки“, подумала сорока, „да и те пустые“—и затосковала: очень живот болел у белобок.

И с боли да тоски на животе сорочьем перья все повылезли, и стала сорока—голобока.

От жадности.

М Ы Ш К А.

По чистому снегу бежит мышка, за мышкой дорожка, где в снегу лапки ступали.

Мышка ничего не думает, потому что в голове у нее мозгу—меньше горошины.

Увидала мышка на снегу сосновую шишку, ухватила зубом, скребет и все черным глазом поглядывает—нет ли хоря.

А злой хорь по мышиным следам ползет, красным хвостом снег метет.

Рот разинул—вот-вот на мышь кинется...

Вдруг мышка цапнула нос о шишку, да с перепугу—нырь в снег, только хвостом вильнула. И нет ее.

Хорь даже зубами скрипнул—вот досада. И побрел, побрел хорь по белому снегу. Злющий, голодный—лучше не попадайся.

А мышка так ничего и не подумала об этом случае, потому что в голове мышиной мозгу меньше горошины. Так-то.

К О З Е Л.

В поле—тын, под тыном—собачья голова, в голове толстый жук сидит с одним рогом посреди лба.

Шел мимо козел, увидел тын, разбежался да как хватит в тын головой,—тын закрихтел, рог у козла отлетел.

— То-то,—жук сказал,—с одним-то рогом сподручнее, иди ко мне жить.

Полез козел в собачью голову, только морду ободрал.

— Ты и лазить-то не умеешь,—сказал жук, крылья раскрылил и полетел.

Прыгнул козел на тын, сорвался и повис на тыну.

Шли бабы мимо тына—белье полоскать, сняли козла и вальками отлупили.

Пошел козел домой без рога, с драной мордой, с помятыми боками.

Шел—молчал.

Смехота да и только.

Е Ж.

Теленок увидел ежа и говорит:—Я тебя съем!

Еж не знал, что теленок ежей не ест, испугался, клубком свернулся и фыркнул:

— Попробуй...

Задрав хвост, запрыгал глупый теленок, боднуть норovit, потом растопырил передние ноги и лизнул ежа:

— Ой, ой, ой! — заревел теленок и побежал к корове-матери, жалуется:

— Еж меня за язык укусил.

Корова подняла голову, поглядела задумчиво и опять принялась траву рвать.

А еж покатился в темную нору под рябиновый корень и сказал ежихе:

— Я огромного зверя победил, должно быть, льва!

И пошла слава про храбрость ежову за синее озеро, за темный лес.

— У нас еж — богатырь, — шопотом со страху говорили звери.

Л И С А.

Под осиной спала лиса и видела воровские сны.

Спит лиса, не спит ли — все равно нет от нее житья зверям.

И ополчились на лису — еж, дятел да ворона.

Дятел и ворона вперед полетели, а еж следом покатился.

Дятел да ворона сели на осину...

— Тук... тук... тук... — застучал дятел клювом по коре.

И лиса увидела сон — будто страшный мужик топором машет, к ней подбирается.

Еж к осине подбегает, и кричит ему ворона:

— Карр еж!.. карр еж!..

„Кур ешь“, думает лиса, „догадался проклятый мужик“.

А за ежом ежиха да ежата катятся, пыхтят, переваливаются...

— Карр ежи! — заорала ворона.

„Караул, вяжи!“ подумала лиса, да как спросонок вскочит, а ежи ее иголками в нос...

— Отрубили мой нос, смерть пришла, — ахнула лиса и бежать.

Прыгнул на нее дятел и давай долбить лисе голову.

А ворона вдогонку: — Карр.

С тех пор лиса больше в лес не ходила, не воровала.

Выжили душегуба.

З А Я Ц.

Летит по снегу поземка, метет сугроб на сугроб... На кургане поскрипывает сосна:

— Ох, ох, кости мои старые, ноченька-то разыгралась, ох, ох...

Под сосной, насторожив уши, сидит заяц.
— Что ты сидишь, — стонет сосна, — съест тебя волк, — убежал бы.
— Куда мне бежать, кругом бело, все кустики замело, есть нечего...
— А ты порой, поскреби.
— Нечего искать, — сказал заяц и опустил уши.
— Ох, старые глаза мои, — закричала сосна, — бежит кто-то, должно-быть волк, — волк и есть.
Заяц заметался: — Спрячь меня, бабушка...
— Ох, ох, ну, прыгай в дупло, косой.
Прыгнул заяц в дупло, а волк подбегает и кричит сосне:
— Сказывай, старуха, где косой?
— Почем я знаю, разбойник, не стерегу я зайца, вон ветер как разгулялся, ох, ох...
Метнул волк серым хвостом, лег у корней, голову на лапы положил. А ветер свистит в сучьях, крепчает...
— Не вытерплю, не вытерплю, — скрипит сосна.
Снег гуще повалил, налетел лохматый буран, подхватил белые сугробы, кинул их на сосну.
Напружилась сосна, крякнула и сломалась...
Серого волка, падая, до смерти зашибла...
Замело их бураном обоих.
А заяц из дупла выскочил и запрыгал, куда глаза глядят.
„Сирота я, — думал заяц, — была у меня бабушка-сосна да и ту замело...“
И капали в снег пустяковые заячьи слезы.

КОТ ВАСЬКА.

У Васьки кота поломались от старости зубы, а ловить мышей большой был охотник Васька-кот.
Лежит целые дни на теплой печурке и думает — как бы зубы поправить...
И надумал, а, надумавши, пошел к старой колдунье.
— Баушка, — замурыкал кот, — поставь мне зубы, да острые, железные, костяные-то я давно обломал.
— Ладно, — говорит колдунья, — за это отдашь мне то, что поймашь в первый раз.
Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой.
Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает.
Вдруг будто мелькнуло что-то, бросился кот, да видно промахнулся.
Пошел — опять метнулось.

„Погоди же!“, думает кот-Васька; остановился, глаза ско-сил и поворачивается, да вдруг как прыгнет, завертелся волч-ком и ухватил железными зубами свой хвост.

Откуда ни возьмись явилась старая колдунья.

— Давай,—говорит,—хвост по уговору. Заурлыкал кот, замяукал, слезами облился. Делать нечего. Отдал хвост. И стал кот—куцый. Лежит целые дни на печурке и думает:

— Пропади они железные зубы пропадом!

СОВА И КОТ.

В дубовом дупле жила белая сова — лунь-птица, у совы было семь детенышей, семь родных сыновей.

Раз ночью улетела она — мышей половить и яиц выпить.

А мимо дуба шел дикий, лесной кот. Услыхал кот, как совята пищат, залез в дупло и поел их — всех семь.

Наевшись, тут же, в теплом гнезде, свернулся и заснул.

Прилетела сова, глянула круглыми глазами, видит — кот спит. Все поняла.

— Котик лесной, — запела сова сладким голосом, — пусти переночевать, студено в лесу-то.

Кот, спросонок, не разобрал и пустил сову.

Легли они в дупле рядышком. Сова и говорит:

— Отчего у тебя, кот, усы в крови?

— Ушибся, кума, рану лизал.

— А отчего у тебя, кот, рыльце в пуху?

— Сокол меня трепал, насили ушел я от него.

— А от чего у тебя, кот, глаза горят?

Обняла сова кота лапами и выпила глаза его.

Клюв о шерсть вытерла и закричала:

Совят!

Семь, семь.

Совят!

Кот съел.

МУДРЕЦ.

По зеленой траве-мураве ходят куры, на колесе белый петух стоит и думает: пойдет дождь или не пойдет?

Склонит голову, одним глазом на тучу посмотрит и опять думает.

Чешется о забор свинья.

— Чорт знает, — ворчит свинья, — сегодня арбузные корки опять отдали корове.

— Мы всегда довольны! — хором сказали куры.

— Дуры! — хрюкнула свинья. — Сегодня я слышала, как божилась хозяйка накормить гостей курятиной.

— Как, как, как, как, что такое? — затараторили куры.

— Поотвертят вам головы — вот и „как что такое“, — проворчала свинья и легла в лужу.

Сверху вниз задумчиво посмотрел петух и молвил:

— Куры, не бойтесь, от судьбы не уйдешь. А я думаю, что дождь будет. Как вы, свинья?

— А мне все равно.

— Боже мой, — заговорили куры, — вы, петух, предаетесь праздным разговорам, а между тем из нас могут сварить суп.

Петуха это насмешило, он хлопнул крыльями и кукарекнул.

— Меня, петуха, в суп, — никогда!

Куры волновались.

В это время на порог избы вышла с огромным ножом хозяйка и сказала:

— Все равно, — он старый, его и сварим.

И пошла к петуху.

Петух взглянул на нее, но гордо продолжал стоять на колесе.

Но хозяйка подходила, протянула руку...

Тогда почувствовал он зуд в ногах и побежал очень шибко: чем дальше, тем шибче.

Куры разлетелись, а свинья притворилась спящей.

„Пойдет дождь или не пойдет?“ думал петух, когда его, пойманного, несли на порог, чтобы рубить голову.

И, как жил он, так и умер, — мудрецом.

Г У С А К.

Идут с речки по мерзлой траве белые гуси, впереди злой гусак шею вытягивает, шипит:

— Попадись мне кто, — защиплю.

Вдруг низко пролетела лохматая галка и крикнула:

— Что, поплавали! Вода-то замерзла.

— Шушура! — шипит гусак.

За гусаком переваливаются гусенята, а позади — старая гусыня. Гусыне хочется снести яйцо, и она уныло думает:

„Куда мне, на зиму глядя, яйцо нести?“

А гусенята вправо шейки нагнут и пощиплют щавель и влево шейки нагнут и пощиплют.

Лохматая галка боком по траве назад летит, кричит:

— Уходите, гуси, скорей, у погребницы ножи точат, свиней колют и до вас, гусей, доберутся.

Гусак малету, с шипом, выхватил галке перо из хвоста, а гусыня расколыхалась:

— Вертихвостка, орешь—детей моих пугаешь.

— Щавель, щавель,—шепчут гусенята,—померз, померз.

Миновали гуси плотину, идут мимо сада, и вдруг по дороге им навстречу бежит голая свинья, ушами трясет, а за ней бежит работник, засучивает рукава.

Наловчился работник, ухватил свинью за задние ноги и поволокся по мерзлым кочкам. А гусак работника за икры, с вывертом, щипом щипал, хватом хватал.

Гусенята отбежали, смотрят, нагнув головы.

Гусыня, охая, засемила к мерзлому болоту.

— Го, го,—закричал гусак,—все за мной!

И помчались гуси полуетом на двор. На птичьем дворе стряпуха точила ножи, гусак к корыту подбежал, отогнал кур да уток, сам наелся, детей накормил и, зайдя сзади, ушипнул стряпуху.

— Ах, ты!—ахнула стряпуха, а гусак отбежал и кричал:

— Гуси, утки, куры, все за мной!

Взбежал гусак на пригорок, белым крылом махнул и крикнул:

— Птицы, все, сколько ни есть, летим за море! Летим!

— Под облака!—закричали гусенята.

— Высоко, высоко!—цыкали куры.

Подул ветерок.

Гусак посмотрел на тучку, разбежался и полетел.

За ним прыгнули гусенята и тут же попадали—уж очень зобы понабили. Индюк замотал сизым носом, куры со страху разбежались, утки, приседая, крякали, а гусыня расстроилась, расплакалась—вся вспухла.

— Как же я, как же я с яйцом полечу!

Подбежала стряпуха, погнала птиц на двор.

А гусак долетел до облака. Мимо треугольником дикие гуси плыли. Взяли дикие гуси гусака с собой за море. И гусак кричал:

— Гууси, куры, утки, не поминайте лиихом...

Г Р И Б Ы.

Братца звали Иван, а сестрицу—Косичка. Мамка была у них сердитая: посадит на лавку и велит молчать. Сидеть скучно, мухи кусаются или Косичка щипнет—и пошла возня, а мамка рубашонку задерет да—шлеп...

В лес бы уйти, там хоть на голове ходи—никто слова не скажет...

Подумали об этом Иван да Косичка да в темный лес и удрали.

Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве, — никогда визга такого в лесу не было слышно.

К полудню ребяташки уgomонились, устали, захотели есть.

— Поестъ бы, — захныкала Косичка.

Иван начал живот чесать — догадываться.

— Мы гриб найдем и съедем, — сказал Иван. — Пойдем, не хнычь.

Нашли они под дубом боровика и только сорвать его нацелились, Косичка зашептала:

— А, может, грибу больно, если его есть?

Иван стал думать. И спрашивает:

— Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?

Отвечает боровик хрипучим голосом:

— Больно.

Пошли Иван да Косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивают у него:

— А тебе, подберезовик, если тебя есть, больно?

— Ужасно больно, — отвечает подберезовик.

Спросили Иван да Косичка под осиной подосинника, под сосной — белого, на лугу — рыжика, груздя сухого да груздя мокрого, синявку-малявку, опенку тощую, масленника, лисичку и сыроежку:

— Больно, больно, — пищат грибы. А груздь мокрый даже губами зашлепал:

— Убирайтесь от меня, ну вас к лешему.

— Ну, — говорит Иван, — у меня живот подвело. А Косичка дала реву.

Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб, словно мукой сладкой обсыпан — плотный, красивый.

Ахнули Иван да Косичка:

— Миленький гриб, можно тебя съесть?

— Можно, детки, можно, с удовольствием, — приятным голосом отвечает им красный гриб, так сам в рот лезет.

Присели над ним Иван да Косичка и только разинули рты, — вдруг, откуда ни возьмись, налетают грибы: боровик и подберезовик, подосинник и белый, и опенка тощая, и синявка-малявка, мокрый груздь да груздь сухой, масленник, лисички и сыроежки, и давай красного гриба колотить — колошматить:

— Ах ты, яд, Мухомор, чтобы тебе лопнуть, ребяташек травить удумал...

С Мухомора только мука летит.

— Посмеяться я хотел, — вопит Мухомор...

— Мы тебе посмеемся! — кричат грибы и так навалились, что осталось от Мухомора мокрое место — лопнул.

И где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего яда...

— Ну, теперъ, ребяташки, раскройте рты по-настоящему, — сказали грибы.

И все грибы, до единого, к Ивану да Косичке, один за другим, скок в рот—и проглотились.

Наелись до отвалу Иван да Косичка и тут же заснули.

А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой.

Увидела мамка Ивана да Косичку, обрадовалась, всего по одному шлепку отпустила, да и то любя, а зайцу дала капустный лист:

— Ешь, барабанщик!

РАЧЬЯ СВАДЬБА.

Грачонок сидит на ветке у пруда. По воде плывет сухой листок, в нем—улитка.

— Куда ты, тетенька, плывешь?—кричит ей грачонок.

— На тот берег, милый, к раку на свадьбу.

— Ну, ладно, плыви.

Бежит по воде паучок на длинных ножках, станет, огребнется и дальше пролетит.

— А ты куда?

Увидел паучок у грачонка желтый рот, испугался:

— Не трогай меня, я—колдун, бегу к раку на свадьбу.

Из воды головастик высунул рот, шевелит губами.

— А куда, головастик?

— Дышу, чай, видишь, сейчас в лягушку хочу обратиться, поскачу к раку на свадьбу.

Трешит, летит над водой зеленая стрекоза.

— А ты куда, стрекоза?

— Плясать лечу, грачонок, к раку на свадьбу...

„Ах ты, штука какая,—думает грачонок,—все туда торопятся“.

Жужжит пчела.

— И ты, пчела, к раку?

— К раку,—ворчит пчела,—пить мед да брагу.

Плывет красноперый окунь, и взмолился ему грачонок:

— Возьми меня к раку, красноперый, летать я еще не мастер, возьми меня на спину.

— Да тебя ведь не звали, дуралей.

— Все равно, глазком поглядеть...

— Ладно,—сказал окунь, высунул из воды крутую спину, грачонок прыгнул на него,—поплыли.

А у того берега на клочке справлял свадьбу старый рак. Рачиха и рачата шевелили усищами, глядели глазищами, щелкали клешнями, как ножницами.

Ползала по кочке улитка, со всеми шепталась—сплетничала.

Паучок забавлялся—лапкой сено косил.

Радужными крылышками трещала стрекоза, радовалась, что она такая красивая, что все ее любят.

Лягушка надула живот, пела песни. Плясали три пескарика и ерш.

Рак-жених держал невесту за усище, кормил ее мухой.

— Скушай,—говорил жених.

— Не смею,—отвечала невеста,—дяденьки моего жду, окуня...

Стрекоза закричала: — Окунь, окунь плывет, да какой он страшный, с крыльями.

Обернулись гости...

По зеленой воде, что есть духу, мчался окунь, а на нем сидело чудище черное и крылатое с желтым ртом.

Что тут началось... Жених бросил невесту, да — в воду; за ним — раки, лягушка, ерш да пескарики; паучок обмер, лег на спинку; затрещала стрекоза, насилу улетела.

Подплывает окунь — пусто на кочке, один паучок лежит и тот, как мертвый...

Скинул окунь грачонка на кочку, ругается:

— Ну, что ты дуралей наделал... Недаром тебя, дураля, и звать-то не хотели...

Еще шире разинул граченок желтый рот, да так и остался — дурак-дураком на весь век.

ПОРТОЧКИ.

Жили-были три бедовых внучонка: Лешка, Фомка и Нил. На всех троих одни только порточки приходились, синенькие, да и те были с трухлявой шириной.

Поделить их — не поделишь и надеть неудобно — из ширины рубашка заячьим ухом торчит.

Без порточек горе: либо муха под коленку укусит, либо ребятишки стегнут хворостиной, да так ловко, — до вечера не отчешешь битое место.

Сидят на лавке Лешка, Фомка и Нил и плачут, а порточки у двери на гвоздике висят.

Приходит черный таракан и говорит мальчишкам:

— Мы, тараканы, всегда без порточек ходим, идите жить с нами.

Отвечает ему старший — Нил:

— У вас, тараканов, зато усы есть, а у нас нет, не пойдем жить с вами.

Прибегает мышка:

— Мы, говорит, тоже самое без порточек обходимся, идите с нами жить, с мышами.

Отвечает ей средний — Фомка:

— Вас, мышей, кот ест, не пойдем к мышам.

Приходит рыжий бык; рогатую голову в окно всунул и говорит:

— И я без порток хожу, идите жить со мною.

— Тебя, бык, сеном кормят—разве это еда? Не пойдем к тебе жить,—отвечает младший—Лешка.

Сидят они трое, Лешка, Фомка и Нил, кулаками трут глаза и ревут. А порточки соскочили с гвоздика и сказали с поклоном:

— Нам, трухлявым, с такими привередниками водиться не приходится,—да шмыг в сени, а из сеней за ворота, а из ворот на гумно, да через речку—поминай, как звали.

Покаялись тогда Лешка, Фомка и Нил, стали прощения у таракана, у мыша да у быка просить.

Бык простил, дал им старый хвост—мух отгонять.

Мышь простила, сахару принесла—ребятишкам давать, чтоб не очень больно хворостиной стегали. А черный таракан долго не прощал, потом все-таки отмяк и научил тараканьей мудрости:

— Хоть одни и трухлявые, а все-таки порточки.

МУРАВЕИ.

Ползет муравей, волокет соломинку.

А ползти муравью через грязь, топь да мохнатые кочки; где вброд, где соломинку с края на край переметнет да по ней и переберется.

Устал муравей, на ногах грязь—пудовики, усы измочил. А над болотом туман стелется, густой, непролазный—зги не видно.

Сбился муравей с дороги и стал из стороны в сторону метаться—светляка искать...

— Светлячок, светлячок, зажги фонарик.

А светляку самому впору—ног-то нет, на брюхе ползти не спорно.

— Не поспею я за тобой,—охает светлячок,—мне бы в колокольчик залезть, ты уж без меня обойдись.

Нашел колокольчик, заполз в него светлячок, зажег фонарик, колокольчик просвечивает, светлячок очень доволен.

Рассердился муравей, стал у колокольчика стебель грызть.

А светлячок перегнулся через край, посмотрел и принялся звонить в колокольчик.

И сбегались на звон да на свет звери: жуки водяные, ужишки, комары да мышки, бабочки-полуношницы. Повели топить муравья в непролазные грязи.

Муравей плачет, спрашивает:

— Не топите меня, я вам муравьиного вина дам.

— Ладно.

Доставили звери сухой лист, нацедил муравей туда вина; пьют звери, похваливают.

Охмелели, в присядку пустились.

А муравей—бежать.

Поднялись звери пискотно, шум да звон и разбудили старую летучую мышь. Спала она под балконной крышей, кверху ногами. Вытянула ухо, сорвалась, нырнула из темени к светлому колокольчику, прикрыла зверей крыльями да всех и съела.

Вот что случилось темною ночью, после дождя, в топких болотах, посреди клумбы, около балкона.

П Е Т У Ш К И.

На избушке бабы-яги, на деревянной ставне, вырезаны девять петушков. Красные головки, крылышки, золотые.

Настанет ночь, проснутся в лесу древяницы и кикиморы, примутся ухать да возиться, и захочется петушкам тоже ноги поразмять.

Соскочат со ставни в сырую траву, нагнут шейки и забегают. Щиплют траву, дикие ягоды. Леший попадетсЯ, и лешого за пятку ущипнут.

Шорох, беготня по лесу.

А на заре вихрем примчится баба-яга на ступе с трещиной и крикнет петушкам:

— На место, бездельники!

Не смеют послушаться петушки и, хоть не хочется,—прыгают в ставню и делаются деревянными, как были.

Но раз на заре не явилась баба-яга — ступа дорогой в болоте завязла.

Радехоньки петушки; побежали на чистую кулижку, взлетели на сосну. Взлетели и ахнули:

Дивное диво! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается; бегают ветер по листикам; садится роса.

А красная полоса разливается, яснее. И вот выкатило огненное солнце.

В лесу светло, птицы поют, и шумят, шумят листья на деревьях.

У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками и запели—кукареку! С радости.

А потом полетели за дремучий лес на чистое поле, подальше от бабы-яги.

И с тех пор на заре просыпаются петушки и кукуречут.

— Кукареку, пропала баба-яга, солнце идет!

М Е Р И Н.

Жил у старика на дворе сивый мерин, хофотий, толстый, губа нижняя лопатой, а хвост лучше и не надо, как труба, во всей деревне такого хвоста не было.

Не наглядится старик на сивого, все похваливает. Раз ночью пронюхал мерин, что овес на гумне молотили, пошел туда, и напали на мерина десять волков, поймали, хвост ему отъели,—мерин брыкался, брыкался, отбрыкался, ускакал домой без хвоста.

Увидел старик поутру мерина куцого и загоревал — без хвоста все равно, что без головы — глядеть противно. Что делать?

Подумал старик да мочальный хвост мерину и пришил.

А мерин—вороват, опять ночью на гумно за овсом полез.

Десять волков тут—как тут; опять поймали мерина, ухватили за мочальный хвост, оторвали, жрут и давятся—не лезет мочала в горло волчье.

А мерин отбрыкался, к старику ускакал и кричит:

— Беги на гумно скорей, волки мочалкой давятся.

Ухватил старик кол, побежал.

Глядит — на току десять серых волков сидят и кашляют.

Старик—колом, мерин—копытом и приударили на волков.

Взвыли серые, прощенья стали просить.

— Хорошо, — говорит старик, — прошу, пришейте только мерину хвост. Взвыли еще раз волки и пришили.

На другой день вышел старик из избы, дай, думает, на сивого посмотри; глянул, а хвост у мерина крючком—волчий.

Ахнул старик, да поздно: на заборе ребятишки сидят, покатываются, гогочут:

— Дедка-то—лошадям волчьи хвосты выращивает.

И прозвали с тех пор старика—хвостырь.

В Е Р Б Л Ю Д.

Вошел верблюд на скотный двор и охает:

— Ну, уж и работничка нового наняли, только и норовит палкой по горбу ожечь—должно быть, цыган.

— Так тебе, долговязому, и надо, — ответил карий мерин, — глядеть на тебя тошно.

— Ничего не тошно, чай у меня тоже четыре ноги.

— Вон у собаки четыре ноги, а разве она скотина? — сказала корова, уныло, — лает да кусается.

— А ты не лезь к собаке с рожищами, — ответил мерин, а потом махнул хвостом и крикнул верблюду:

— Ну, ты, долговязый, убирайся от колоды!

А в колоде завалено было вкусное месиво.

Посмотрел верблюд на мерина грустными глазами, отошел к забору и принялся пустую жвачку есть. Корова опять сказала:

— Плюется очень верблюд-то, хоть бы издох...

— Издох!—ахнули овцы все сразу.

А верблюд стоял и думал, как устроить, чтобы уважать его на скотном дворе стали.

В это время пролетал в гнездо воробей и пискнул мимо-летом:

— Какой ты, верблюд, страшный, право!

— Ага!—догадался верблюд и заревел, словно доску где сломали.

— Что это ты,—сказала корова,—спятил?

Верблюд шею вытянул, потрепал губами, замотал тощими шишками:

— А посмотрите-ка, какой я страшный...—и подпрыгнул.

Уставились на него мерин, корова и овцы... Потом, как шарахнутся, корова замычала, мерин, оттопырив хвост, уискал в дальний угол, овцы в кучу сбились.

Верблюд губами трепал, кричал:

— Ну-ка, погляди!

Тут все, даже жук навозный, сперепугу со двора устрекнули.

Засмеялся верблюд, подошел к месиву и сказал:

— Давно бы так. Без ума-то оно ничего не делается. А теперь покушаем.

Г О Р Ш О К.

К ночи стряпуха умаялась, заснула на полу около печи и так захрапела — тараканы обмирали со страха, шлепались, куда ни попало, с потолка да со стен.

В лампе над столом пованивал голубой огонек.

И вот в печке сама собой отодвинулась заслонка, из жерла вылез пузатый горшок со щами и снял крышку:

— Здравствуй, честной народ.

— Здравствуй,—важно ответила квашня.

— Хи, хи, — залезбизил глиняный противень, — здравствуйте!—и клюнул носиком.

На противень покосилась скалка:

— Не люблю подлых бесед, — сказала она громко, — ох, чешутся чьи-то бока.

Противень нырнул в печурку на шестке.

— Не трогай его,—сказал горшок.

Грязный нос вытерла худая кочерга и зашмыгала:

— Опять ругаетесь, нет на вас Угомону; мотаешься, мотаешься целый день, а ночью поспать не дадут.

— Кто меня звал?—зашептал Угомон под печкой.

— Это не я, а кочерга, это она сегодня по спине стряпуху съездила,—сказала скалка.

Кочерга метнулась:—И не я, а ухват, сам хозяин ухватом съездил стряпуху.

Ухват, расставив рога, дремал в углу, ухмылялся.

Горшок надул щеки и сказал:

— Объявляю вам, что варить щей больше не желаю, у меня в боку трещина.

— Ах, батюшки!—разохалась кочерга.

— Не больно надо,—ответила скалка.

Противень выскочил из печурки и заюлил:

— Трещина, замазочкой бы, тестом тоже помогает.

— Помажь тестом,—сказала квашня.

Грызёная ложка соскочила с полки, зачерпнула тесто и помазала горшок.

— Все равно,—сказал горшок,—надоело, лопну я и замазанный.

Квашня стала пучиться и пузырями щелкать—смеялась.

— Так вот,—говорил горшок,—хочу я, честной народ, шлепнуться на пол и расколоться.

— Поживите, дяденька,—вопил противень,—не во мне же щи варить.

— Хам!—гаркнула скалка и кинулась. Едва отскочил противень, только носок отшибла ему скалка.

— Батюшки, драка!—заметалась кочерга.

Из печурки выкатилась солоница и запикала: не нужно ли кого посолить?

— Успеешь, успеешь насолить,—грустно ответил горшок: он был стар и мудр.

Стряпуха стала причитать во сне:—Родненькие мои горшочки!

Горшок заторопился, снял крышку:—Прощай, честной народ, сейчас разобьюсь.

И совсем уже с шестка сигануть хотел, как вдруг, спросонок, ухватил его рогами дурень ухват и махнул в печь.

Противень прыгнул за горшком, заслонка закрылась сама собой, а скалка скатилась с шестка и ударила по голове стряпуху.

— Чур меня, чур... залопотала стряпуха. Кинулась к печке—все на месте, как было.

В окошке брежил, словно молоко снятое, утренняя.

Затоплять пора, сказала стряпуха и зевнула, вся даже выворотилась.

А когда открыла заслонку — в печи лежал горшок, расколотый на две половинки, щи пролились, и шел по избе дух крепкий и кислый.

Стряпуха только руками всплеснула. И попало же ей за завтраком!

КУРИНЫЙ БОГ.

Мужик пахал и сошником выворотил круглый камень, посреди камня дыра.

— Эге,—сказал мужик,—да это куриный бог.

Принес его домой и говорит хозяйке:

Я куриного бога нашел, повесь его в курятнике, куры целее будут.

Баба послушалась и повесила за мочалку камень в курятнике, около насеста.

Пришли куры ночевать, камень увидели, поклонились все сразу и закудаhtали:

— Батюшка Перун, охрани нас молотом твоим, камнем грозвым от ночи, от немочи, от росы, от лисиной слезы.

Покудаhtали, белой перепонкой глаза закрыли и заснули.

Ночью в курятник вошла куриная слепота, хочет измором кур взять.

Камень раскачался и стукнул куриную слепоту,—на месте осталась.

За куриной слепотой следом вползла лиса, сама, от притворства, слезы точит, приловчилась петуха За шейку схватить,—ударил камень лису по носу, покатилась лиса кверху лапками.

К утру налетела черная гроза, трещит гром, полыхают молнии—вот-вот ударят в курятник.

А камень на мочалке как хватит по насесту, попадали куры; разбежались, спросонок, кто куда.

Молния пала в курятник, да никого не ушибла — никого там и не было.

Утром мужик да баба заглянули в курятник и подивились:

— Вот так куриный бог—куры-то целехоньки.

КАРТИНА.

Захотела свинья ландшафт писать. Подошла к забору, в грязи обвалялась, потерлась потом грязным боком о забор — картина и готова.

Свинья отошла, прищурилась и хрюкнула.

Тут скворец подскочил, попрыгал, попикал и говорит:
— Плохо, скучно!
— Как?—сказала свинья и насупилась—прогнала скворца.
Пришли индюшки, шейками покивали, сказали:—Так мило, так мило!
А индюк шаркнул крыльями, надулся, даже покраснел и гаркнул:—Какое великое произведение!..
Прибежал тощий пес, обнюхал картину, сказал:
— Недурно, с чувством, продолжайте,—и поднял заднюю ногу.
Но свинья даже и глядеть на него не захотела.
Лежала свинья на боку, слушала похвалы и похрюкивала.
В это время пришел маляр, пхнул ногой свинью и стал забор красной краской мазать.
Завизжала свинья, на скотный двор побежала:
— Препала моя картина, замазал ее маляр краской... Я не переживу горя!..
— Варвары... варвары...—закурлыкал голубь.
Все на скотном дворе охали, ахали, утешали свинью, а старый бык скавал:
— Врет она... переживет.

МАША И МЫШКИ.

— Спи, Маша,—говорит нянюшка,—глаза во сне не открывай, а то на глаза кот прыгнет.

— Какой кот?

— Черный, с когтями.

Маша сейчас же глаза и зажмурила. А нянька залезла на сундук, побряхтела, повозилась и носом сонные песни завела. Маша думала, что нянька из носа в лампадку масла наливает.

Подумала и заснула.

Тогда за окном высыпали частые, частые звезды, вылез из-за крыши месяц и сел на трубу...

— Здравствуйте, звезды,—сказала Маша.

Звезды закружились, закружились, закружились. Смотрит Маша—хвосты у них и лапки.—Не звезды это, а белые мыши бегают кругом месяца.

Вдруг под месяцем задымилась труба, ухо вылезло, потом вся голова,—черная, усатая.

Мыши метнулись и спрятались все сразу.

Голова уползла, и в окно мягко прыгнул черный кот; волоча хвост, заходил большими шагами, все ближе, ближе к кровати, из шерсти сыпались искры.

„Глаза бы только не открыть“, думает Маша.

А кот прыгнул ей на грудь, сел, лапами уперся, шею вытянул, глядит.

У Маши глаза сами разлепляются.

— Нянюшка,—шепчет она,—нянюшка.

— Я нянюку съел,—говорит кот,—я и сундук съел.

Вот, вот, откроет Маша глаза, кот и уши прижал...

Да как чихнет.

Крикнула Маша, и все звезды-мыши появились, откуда ни возмись, окружили кота; хочет кот прыгнуть на Машины глаза—мышь во рту, жрет кот мышей, давится, и сам месяц с трубы сполз, поплыл к кровати, на месяце нянькин платок и нос толстый...

— Нянюшка,—плачет Маша,—тебя кот съел...—И села.

Нет ни кота, ни мышей, а месяц далеко за тучками, плывет.

На сундуке толстая нянька выводит носом сонные песни.

„Кот нянюку выплюнул и сундук выплюнул“, подумала Маша и сказала:—Спасибо тебе, месяц, и вам, ясные звезды.

СОЛНЕЧНЫЕ ПЕСНИ

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ.

Дождик сквозь солнце, крупный и теплый,
Шумит по траве,
По синей реке,
И круги да пузырики бегут по ней,
Лег тростник,
Пушистые торчат початки,
В них накрепко стрекозы вцепились,
Паучки спрятались, поджали лапки,
А дождик поливает:

Дождик, дождик пуще
По зеленой пуще.
Чирики, чигирики,
По реке пузырики.
Пробежал низенько,
Омочил мокренько.
Ой, ладога, ладога,
Золотая радуга.

Рада белая береза:
Обсыпалась почками,
Обвесилась листочками.
Гроза гремит, жених идет,
По солнцу дождь—весенний мед,
Чтоб, белую да хмельную,
Укрыть меня в постель свою,
Хрустальную,
Венчальную...
Иди, жених, замрела я,
Твоя невеста белая...

Обнял, осыпал дождик березу,
Прошумел по листьям,
И по радужному мосту
Помчался к синему бору...
По мокрой траве бегут парень да девушка.
Уговаривает парень:

Ты не бойся, пойдем,
 Хоровод за селом,
 Созовем, заведем,
 И, под песельный глас,
 Обведут девять раз,
 Обручившихся, нас.
 Этой ночью красу—
 Золотую косу
 Расплету я в лесу.
 Сорвала девушка лопух,
 Закрылась.
 А парень приплясывает:
 На меня погляди,
 Удалее найди;
 Говорят обо мне;
 Что девицы во сне
 Видят, около,
 Ясна сокола.
 На реке дед-перевозчик давно поджидает,
 Поглядывает, посмеивается в бороду.
 Сбежали с горы к речке парень да девушка,
 Отпихнул дед перевоз,
 Жалко стало внучки, стал реке выговаривать:
 Ты река, Бугай, серебром горишь,
 Скатым жемчугом по песку звенишь;
 Ты прими, Бугай, вено девичье,
 Что даю тебе, мимо едучи:
 Отдаю людям дочку милую,—
 Охрани ее водной силою
 От притыки, от глаза двуглазого,
 От двузубого, лешего, банника,
 От гуменника, черного странника,
 От шишиги и нежитя разного.
 И спустил в реку узелок с хлебом-солью.
 Девушка к воде перегнулась,
 Омокнула пальцы:
 Я тебе, река, кольцо скую—
 Научи меня, молоденькую,
 Как мне с мужем речь держать,
 Ночью в губы целовать,
 Петть над люлькой песни женские,
 Домовые, деревенские.
 Научи, сестра-река,
 Будет счастье ли, тоска?
 А в село девушкам
 Сорока-ворона на хвосте принесла.
 Все доложила:
 Бегите к речке скорей!

Прибежали девушки к речкѣ,
Закружились хороводом на крутом берегу,
В круг вышла молодуха,
Подбоченилась,
Грудь высокая, лицо румяное, брови крутые.
Звякнула монистами:

Как по лу́гу, лу́гу майскому
Заплетались хороводами,
Хороводами купальскими,
Над русалочными водами.
Звезды кружатся далекие,
Посреди их месяц соколом,
А за солнцем тучки легкие
Ходят кругом, ходят около.
Вылезайте, мавки, душеньки,
Из воды на волю-волюшку,
Будем, белые подруженьки,
Хороводиться по полюшку.

А со дна зеленые глаза глядят.
Распустили русалки-мавки длинные косы:

Нам бы вылезти охота,
Да боимся солнца;
Опостылела работа,
Колет веретенце.
На закате под ветлою
Будем веселиться,
Вас потешим ворожбою,
Красные девицы.

Обнял девушку парень,
Кричит с перевоза:

Хороните, девки, день,
Закликайте ночку--
Подобрался ключ-кремень
К алому замочку.
Кто замочек отомкнет
Лаской или силой,
Соберет сотовый мед
Батюшки Ярилы.

Ухватили девушки парня и невесту,
Побежали по лугу,
Окружили, запели:

За телкою, за белою
По полю, полю синему
Ядреный бык, червленый бык
Бежал, мычал, огнем кидал:
Уж тебя я догоню, догоню,
Молодую, полоню, полоню!
А телушка, а белая,

Дрожала, вся замрелая—
Нагонит бык, спалит, сожжет...
Бежит, молчит и сердце мрет...
А бык нагнал,
Червленный, пал:
Уж тебя я полонил, полонил,
В прѣщах воду отворил, отворил,
Горы, доли оросил, оросил.
Перекинулся дождик от леса,
Да подхватил,
Да как припустился
По травушкам, по девушкам,
Теплый да чистый:
Дождик, дождик пуще
По зеленой пуще;
Чирики, чигирики,
По воде пузырики;
Пробежал низенько,
Омочил мокренько;
Ой, ладога, ладога,
Золотая радуга!
Слава!

КУПАЛЬСКИЕ ИГРИЩА.

Дни купальные—
Венчальные:
Бог сочетается с красной девицей—
Зарей Заряницей.
Оком пламенным в землю глядит!
И земля замирает,
Цветы вырастают,
Деревья кудрявые,
Травы.
Оком пламенным в реки глядит!
И невмочь разгоревшимся водам,
Текут они медом,
Желтым и старым,
По бродам
И ярам.
Оком пламенным в сердце глядит.
Бог Купало,
Любый, травник, лих...
Сердце— ало,

Загорается...
Явись, воплотись,
Жених!..
Чудо свершается---
Купало в Козла воплощается...
В речке воды---желтый мед,
Пьяный мед,
Белый к нам Козел идет,
К нам, девицы,
Заряницы,
Поутру жених---
Козел идет,
Круторогий нам
Дары несет.
У него венец
Золотых колец.
С нами Купало великий,
С нами Козел наш, девицы!
Скиньте, сорвите паневы!
Где ты, невеста любовная!
Где ты, Заря Заряница!

Ищет невесту Купало,
Круторогий, кудрявый...

Очами глядит,
Где ты, Заря Заряница!

Вот она кружится, - девица, девица,
Кружится, кружится, девица, девица...
Ты ль жениха не ждала,
В небе зарею цвела,
Ты ли вино не пила,
Пояс тугой сорвала,
Красная девица,
Красная девица...
Заря Заряница!

Нашел Козел невесту,
Выбрал девицу, любовнее всех.

Возьми ее, возьми ее,
Веди ее на реку,
В меду купать, в меду ласкать,
Купало! Купало!
Люби ее, люби ее,
Веди ее по хмелю;
Неделю пить, до пьяна пить,
Купало! Купало!
Целуй ее, целуй ее,
До крови невесту!
Твоя любовь --на теле крови!
Купало! Купало!

ОСЕННЕЕ ЗОЛОТО.

Нет больше лета,
Не свистят зеленые иволги,
Грибами пахнет...
Пришел к синей реке козленок,
Заиграл на тростинке,
И запечалились мавки-русалки:
Тонкая сопелочка плачет над водой,
Спой осенним мавам ты, козлик золотой.
Падают с березы последние одежды,
Небо засинелось печалью безнадежной...
Лебеди срываются от затонных вод...
Скоро наш козленочек за море уйдет.
Поет на тростинке козленок:
Я пойду не за море —
За море далеко;
Я пойду не за горы —
За горы высоко!
А пойду я в красный
Лес густой,
Набреду на ножик,
Острый, злой:
Упаду на травы,
Закричу,
Обольюся кровью
По мечу.
Заплакали русалки-мавки.
Горе нам, горе, осенние красавицы!
Хочет наш песельник до смерти кровавиться!
Падайте листья, стелитесь желтоалые,
Мы убаюкаем глазинки усталые...
Спи, спи, усни...
Волна бежит
По берегу;
Трава лежит,
Примятая...
Волна траве:
Ты слышала--
Она идет,
Осенняя,
Прекрасная,
Вся в золоте
И тлении,
Печальная,
Пурпурная...

Спи, спи, усни,
В листы склони
Головушку,
Рога златые
В травушку...
Она идет,
Тебе поет:
Спи, спи, усни,
Козленочек.

ЗАМОРОЗКИ.

Сковало морозом реку,
Хватило траву,
Пожелтел камыш,
Спуталась на низком берегу осока...
На лед выбежала девушка
В белых чулках, в лисьей шубке:
Я по речке иду
И боюсь и смеюсь,
По хрустящему льду
Башмачком прокачусь...
Я во льду голубом
Залюбуюсь собой;
В шапке с белым пером
Будет суженый мой...
А мороз, словно лист,
Разрумянил лицо,
Подарит мне Финист
Золотое кольцо.
Ах, ты, девица, девица, девица...
Нынче сокол Финист тебе грезится.
Добежала до березового острова:
Подобрала шубку, села, загрустила:
Выходила на заре,
Липе, древу на дворе,
В ветви бросила монисто,
Ворожила и спросила
Липу, дерево девичье:
Не свистел ли про Финиста,
Лада—липа, голос птичий?
И не знала липа о соколе,
Не сказала—близко, далеко ли.
Облокотилась девушка,
Упали черные ресницы...
И расступились, покачнулись березы,
Вышел белый терем

О двенадцати башнях, на них двенадцать голов
медвежьих.

В терему окно стукнуло,
Вылетел белый сокол и обернулся
Финистом:

Девушка моя, не тоскуй,
Зимнего меня поцелуй...
Я сыграю на свирели:—
На твоей горят постели
Янтари;
Я тебя, мою голубку,
Заверну в соболью шубку
До зари;
Спи, не тронет сон ни свекор,
Ни свекровь...
Спи, с тобою белый сокол
И любовь...

Встает, шатается девушка,
Смеются медвежьи головы...
Зазвенело вдруг по реке,
Позыкнулось в роще:

На березе белый дед,
Под березой снегу нет!

То ребята бегут, гонят дубинками котяши по
реке...

Побелел Финист, дрогнул
И пропал и он, и терем медвежий.
Набежали ребята,
Девушку в салазки посадили—
Покатили—смеяться не успеешь:

На девушке сарафан,
Алым шелком белый ткан;
Что ты, ясная, бледна,
Ходишь по лесу одна?
Станем девушку катать,
Зимней песней величать:—
Царица ледяная,
Зима бурная,
Будь наша мати,
Дай переждати
Твои метели
В веселой хате,
Где б песни пели
Парням девицы...
Зима царица!
Белая птица!
Снежная пава!
Слава!

ПАСТУХ.

Утром росы нехватило,
Стонет утроба земная.
Сверху-то высь затомила —
Матушка степь голубая.
Бык на цепи золотой,
В небе высоко ревет...
Вон и корова плывет,
Бык увидал, огневой...
Вздыбился, пал...
Синь под коровою.
Ух... загремел, засверкал
Грудью багровою;
Брагой медовою
Тучно истек.
Зелень ковровую
Вымыл поток.
Пуще того духовитая
Дышит страда.
Лоснятся, Богом омытые,
В поле стада.

ПОЛДЕНЬ.

На косе роса горит,
Под косой трава свистит;
Коростель кричит в болоте;
В пышном поле, от зари,
Распотешились в работе,
Распотели косари.
Солнце пышет желтым жаром:
И звенит трава под жалом:
„По кошнине лапотком
За передним ходоком“.
Песни долгие звенят,
Красны девки ходят в ряд:
Расстегнулись паневы,
Тело белое горит:
„Звонче пойте, чернобровы,
Только старый в полдень спит“.
Солнце пышет желтым жаром,
И звенит трава под жалом.
„По кошнине лапотком
За передним ходоком“.

ЗОЛОТО.

Загуляли по ниве серпы;
Желтым колосом, мерно кивая,
Зашепталася рожь золотая, --
И уселись рядами снопы.
Низко свесили кудри горячие,
Словно солнцевы дети, в парче...
Обливает их солнце стоячее,
Разгорается сила в плече,
Медвяным молоком, наливное!
Проливается в горсти зерно...
Ох, ты, солнце мое золотое!
Ох, ты, высь, голубое вино!

ЗЕМЛЯ.

Гаснет в утренник звезда;
Взрежет землю борозда...
И гудят, скрипят сошники.
И ярмо качают быки,
Белый да красный.
Не хоронит перед зарей лица,
В алых солнце тучах моется;
И, пластами до реки,
Емлют землю сошники.
„Зерна ярые мои
В чреве, черная, таи.
Станут зерна стебелиться,
Стебель тонкий колоситься,
Солнце ляжет на поля --
Стеблю влаги дай, земля!..
Я приду к тебе, моя мать,
Золотые снопы поснимать;
Я снопы смолочу до зари
И три меры насыплю я, три.
Меру первую и полную мою
Богу Господу Иисусу предаю;
А вторую князю, в красном терему;
Третью меру в землю -- чреву твоему!
В пашню зерна золотые полегли,
Возлелей их, чрево черное земли“.

ТРАВА.

Перепелка припала в траве,
Зазвенела стрела в тетиве,
И впилась между крылышек медь,
А трава начинала шуметь.
Ты зачем зашумела, трава?
Напугала ль тебя тетива?
Перепелочья ль кровь горяча,
Что твоя закачалась парча?
Или ветром по полю умчалось без края
Неизносное горе мое?
Но не ты ли, трава, шелестя и кивая,
Роковое сокрыла копье?
И, как птица в тебе, золотая подруга
От татарина злого бегла.
Натянулась татарская, метко и туго,
И подругу догнала стрела.
И приникла змеею и в девичью спину,
Закровавив, до перьев ушла.
Так не с этой ли крови колышешь равнину
И по ветру волной полегла?

СВАТОВСТВО.

Сноп тяжел золотым зерном,
А рука могучною дрожью.
Размахнусь только раз цепом, —
Гулкий ток весь засыплю рожью;
На лопату зерно приму,
Кину в ветер, чтоб снес мякину,
Чистый хлеб соберу в суму,
И на плечи ту сумку вскину.
В гридни княжьи пойду, хвалясь:
Кто суму приподнимет, князь?
За столы, подбоченясь, сяду.
Приподнять никому невмочь,
И зовет князь невесту дочь,
Что гуляет в венце по саду.
Вот, Настасья, тебе жених!
Колокольни дрожат от гула,
И слепец запекает стих:
Буди жив, богатырь Микула!

ТАЛИСМАН.

Родила меня мать в гололедицу,
Умерла от лихого житья;
Но пришла золотая медведица,
Пестовала чужое дитя.
В полнолунье водила на просеки,
Ворожила при ясной луне.
И росли золотые волосики
У меня на груди и спине.
Языку научила змеиному
И шептанью священных дубрав;
Я в затонах внимал шелестиному,
Заунывному голосу мав.
Но ушла золотая медведица,
На прощанье дала талисман...
Оттого-то поется, и грезятся
Мне леса, и река, и туман.

ЛЕШАК.

Все-то мавы танцовали
Кругом, около, у пня;
Заклинали, отогнали,
Неуемного, меня.
Всю-то ночь, одинокий,
Просидел я на бугре;
Затянулся поволокой
Бурый месяц на заре.
Встало солнце, и козлийный
Загудел в крови поток.
Я тропой пополз змеиной
На еще горячий ток.
Под сосной трава прибита,
Вянут желтые венки;
Опущу мои копыта
В золотые лепестки...
Берегись меня, прохожий!
Смеху тихому не верь.
Неуемный, непригожий,
Сын я Солнца — бог и зверь.

ЗОРИ.

Койт встает на закате, зовет Эммарику;
А леса между ними завалены снегом;
Старый Сивер приподнял холодную пику
И летит на оленях—белесом и пегом.
Койт зовет Эммарику:—приди, моя зорька,
И возьми у меня золотое светило!
А она:—Не могу—караулит нас зорко
Снежнокудрого Сивера вьюжная сила.
Сосны сини и снег между соснами синий.
Плачет Койт, простирая к возлюбленной пальцы.
А от слез опускается на землю иней;
И в сугробах пушистые прыгают зайцы.

САМАКАН.

В круг девичий посадите,
Гостя чаркой обнесите;
Ой, гусяр! Ой, гусяр!
Спой про сокола-Финиста,
Про чеканное монисто;
Ой, гусяр! Ой, гусяр!
Ладом в ладошки ударим,
Красным золотом одарим,
Ой, гусяр! Ой, гусяр!

Струны мои, струны неурывчатые!
Песни мои, песни переливчатые!
Думы мои за море летят;
За морем три старицы стоят,
Старицы клобушные да мудрые,
Спрятали царевну на Словут-горе.

По морю, по камушкам пойду я,
Песнями царевну расколдую;
Струны мои серебром рассыпятся.
Встанет царь-девица в алый зыбище,
Жемчугом расшитый сарафан...
Здравствуй ты, царевна Самакан!

Не понять вам песни, девицы,
Золотой не разгадать,
И в царевнин терем лестницы
Нипочто не отыскать.

Поклонился гусяр до полу,
И пошел в студеную ночь,
От гостей от чарки прочь,
И запел, заплакал по полю.

Звезды мои, звезды голубые,
Очи царь-девицы золотые...
Синее ты небо запрокинулось,
Песню мою смертную я кину ввысь...
Песню о царевне-Самакан
Запевай за мной, подхватывай буран...

ЛЕЛЬ.

Опенками полно лукошко,
А масленник некуда деть;
На камне червивом морошка
Раскинула тонкую сеть.
И мох, голубой и пахучий,
Окутал поваленный пень;
Летают по хвое горючей
Кружками и светлы и тень,
Шумят, вековечные, важно
И пихты, и сосны, и ель...
А в небе лазоревом бражно,
Хмельной, поднимается Лель.
Вином одурманены пчелы
В сырое дупло легли.
И стрел его сладки уколы
В горячие груди земли.

СЕМИК.

Ох, кукуется кукушке в лесу!
Заплетите мне тяжелую косу;
Свейте, девушки, веночек не велик —
Ожила береза-древо на Семик.
Ох, Семик, Семик, ты выгнал из бучил,
Водяниц с водою чистой разлучил,

И укрыл их во березовый венец.
Мы навесим много серег и колец:
Врдяницы, молодницы,
Белы утицы,
Погадайте по венку,
Что бросаем на реку.
По воде венок плывет,
Парень сокола зовет,
Принести велит венок
В златоверхий теремок.
Ой, родненьки!
Ой, красные!
Ой, страшно мне,
Молоденькой.

ДОДОЛА.

Над прохладною водою из криниц
Снимем платье с той, что краше всех девиц,
Тело нежное цветами опрядем,
По селениям Додолу поведем,
Осыпаем всех прохожих ячменем,
Князя-солнца нашей девице найдем.
Вон по небу, светел силою и лих,
Ходит, саблею играет князь-жених...
Уж ты саблей тучу напопы руби,
В рог золотой по горним долам затруби!
Воструби—зови, а мы к тебе идем,
Во цветах Додолу красную ведем...
На, возьми ее, ожги ее огнем...
Мы над нею ветви сению согнем.

ЛЕСНАЯ ДЕВА.

Хмар деревья кутает,
Мне дороги путает,
Вопит дикий кур.
Девушка весенняя!
Вон метнулась тень ея...
Кто там? Чур мне, чур!
В очи хвоей кинула
И в пещере сгинула...
А в сырую мглу
День пустил стрелу.

ПЛАЧ.

Ночь—глухая темь;
Всех дверей-то семь.
За дубовыми,
Медью коваными,
Бык сидит.
У семи дверей.
Семиглавый змей.
На завалине —
Сером камень,
Крепко спит.
Поднимает лик
Златорогий бык,
Разбегается,
Ударяется
Рогом в дверь.
Но тверды замки,
Не сломать доски.
Горе черное!
Дверь упорная!
Силен зверь.
Где же ты, меч-топор —
Кладенец востер?
В море лоненном
Похороненный
Синий меч!
Эх, найти бы мне
Острый меч на дне!
Змею старому,
Зверю хмарному
Главы ссечь.

ЗА СИНИМИ РЕКАМИ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ.

Похоронные плачи запекает
Вьюга над пустыней,
И по савану саван устилает,
Холодный и синий.
И тоскуют ослепшие деточки,
В волосиках снежных;
И ползут они с ветки на веточку—
Не жалко ей нежных.
Засыпает снегами колючими
Незрячие глазки;
И ныряют меж тучами-кручами
Голубые салазки.
И хоронятся зяблые трупики—
Ни счету, ни краю...
...Не кричи, я баюкаю, глупенький!
Ой, баюшки-баю.

ВО ДНИ КОМЕТЫ.

Помоги нам, Пресветлая Троица!
Вся Москва-река трупами кроется...
За стенами, у места у Лобного,
Залегло годуновское логово.
Бирюки от безлюдья и голода
Завывают у Белого города;
Опускаются тучи к Московию,
Проливаются серой да кровию;
Засеваются нивы под хлябями,
Черепами, суставами рабыми;
Загудело по селам и по степи
От железной, невидимой поступи;
Расступилось нагорье Печерское,
Породились зародыши мерзкие...
И бежала в леса буераками
От сохи черносошная земщина...
И поднялась на небе, от Кракова,
Огнехвостая, мертвая женщина.
Кто от смертного смрада сокроется?
Помоги нам, Пресветлая Троица!

О Б Р Ы.

Лихо людям в эту осень:
Лес гудит от зыков рога—
Идут Обры, выше сосен,
Серый пепел—их дорога.
Дым лесной вползает к небу,
Жалят тело злые стрелы;
Страшен смирному Дулебу
Синий глаз и волос белый.
Дети северного снега
На оленях едут, наги;
Не удержат их набега
Волчьи ямы и овраги.
И Дулеб кричит по-птичьи;
Жены, взнузданы на вожжи,
Волокут повозки бычьи,
Зло смердят святые рощи.
Обры, кинув стан на Пселе,
Беленою трут колени;
За кострами, на приколе,
Воют черные олени.
Так прошли. С землей сравнялись...
Море ль их укрыло рати?
Только в тех лесах остались
Рвы да брошенные гати.

ЗМЕИНЫИ ВАЛ.

Широк разлился синий Буг.
По берегу ограда.
Кузнец кует железный плуг,
В саду гуляет лада.
„Кузнец,—кричит,—оставь ковать:
Волна бежит на камень;
То змей спешит меня ласкать,
Мне страшен дым и пламень“.
Кузнец хватил клещи в огонь,
На дверь надвинул болты.
А змей скакал, встряхая бронь,
По брюху ржаво желтый.
„Открой, кузнец!“ был скорый зык;
Сквозь дверь лизнуло жало;
Словил кузнец клещьми язык,
Калеными до-ала.

Завыл от боли змей и вдруг
Затих: „Пусти на волю“.
Кузнец сказал: „Впрягайся в плуг,
Иди, ори по полю“.
И змей пошел и прах степной
С бразды поднялся тучей.
К закату змей истек слюной
И встал, хрипя, над кручей...
По ребрам бил его кузнец...
А окиан червлёный
Гудел. И змей, согнув крестец,
Припал к воде соленой...
И пил, мутя волну с песком,
Раздулся выше гор он...
И лопнул... Падалью влеком
На камне граял ворон.

С К О М О Р О Х И.

Из болот да лесов мы идём,
Озираемся, песни поём;
Нехорошие песни—бирючьи,
Будто осенью мокрые сучья
Раскачала и плачется ель,
В гололедицу свищет метель,
Воет пес на забытом кургане,
Да чернеется яма в бурьяне,
Будто сына зарезала мать..
Мы на свадьбу идем пировать:
 Пированье—браги нет,
 Целованье—бабы нет,
 И без песен пиво — квас,
 Принимай, хозяин, нас.
Хозяину, хозяйошке—слава;
Невесте да молодцу—слава!
Всем бородам поклон да слава!
 А нам, дуракам, у порога сидеть,
 В бубенцы звенеть да песни петь,
 Песни петь, на гусях играть,
 Под гуслирный звон весело плясать...
 Разговаривай звончее, бубенцы!
 Ходу, ходу, руки, ноги,—лапотцы...
Напоил, хозяин, допьяна вином,
Так покажь, где до рассвета отдохнем;
Да скажи-ка, где лежит твоя казна,
Чтоб ошибкою не взять ее со сна;
Да укажь-ка, где точило мы найдем --

Поточить ножи булатные на нем:
Нож булатный скажет сказку веселей...
Проливай-ка брагу красную полней...
Скоморохи, скоморохи, удалцы!
Стоном-стонут скоморошья бубенцы!

С У Д.

Как лежу я, молодец, под Сарынь-горою,
А ногами резвыми у Усы-реки...
Придавили груди мне крышкой гробовою,
Заковали рученьки в медные замки.
Каждой темной полночью приползают змеи,
Припадают к векам мне и сосут до дня...
А и землю-матушку я просить не смею—
Отогнать змеенышей и принять меня.
Лишь тогда, как исстари, от Москвы Престольной
До степного Яика грянет мой Ясак—
Поднимусь я, старчище, вольный иль невольный,
И пойду по водам я—матерой казак.
Две змеи закланные к векам присосутся,
И за мной потянутся черной полосой...
По горам, над реками города займутся
И година лютая будет мне сестрой.
Пронесутся знаменья красными столпами;
По земле протянется огневая вервь;
И придут Алаписы с песчаными главами,
И в полях младенчики поползут, как червь.
Задымятся кровию все леса и реки;
На проклятых торжищах сотворится блуд...
Мне тогда змееныши приподнимут веки...
И узнают Разина. И настанет суд.

М О С К В А.

Наползают медные тучи,
А из них вороны грают.
Отворяются в стене ворота.
Выезжают злые опричники,
И за рекой трубы играют...
Взмесят кони в ростопель
Кровь с песком горючим.
Вот и мне, вольному соколу,
Срубят голову саблей
Злые опричники.

ВЕДЬМА-ПТИЦА.

По Волхову струги бегут,
Расписаны, червленые...
Валы плеснут, щиты блеснут,
Звенят мечи каленые.
Варяжий князь идет на рать
На Новгород из-за моря...
И алая, на горе зная,
Над Волховом горит заря.
Темны леса, в водах струясь.
Пустынны побережия...
И держит речь дружине князь:
— Сожгу леса медвежие.
Мой лук на Новгород согну
И кровью город вспенится...
... А темная по мху, по дну
Бежит за стругом ведьмица.
Над лесом туча—черный змей
Зарею вдоль распорота.
Река кружит, и вот над ней
Семь башен Нова-Города.
И медный рог хватает князь
Железной рукавицею...
Но дрогнул струг, вода взвилась
Под ведьмой, девой птицею.
Взлетела ведьмица на щегл
И пестрая и ясная:
— Жених мой здравствуй, князь и сокол...
— Тебя ль ждала напрасно я?
— Люби меня!..—в глаза глядясь,
Поет она, как пьяная...
И мертвый пал варяжий князь
В струи реки багряные.

П Р И В О Р О Т.

Покатилось солнце с горки,
Пало в кованный ларец.
Вышел ночью на задворки
Чернобровый молодец.
В красном золоте рубаха,
Стан—яровая сосна;
Расчесала кудри пряха—
Двадцать первая весна.

— Что ж, не любишь, так не надо,
Приворотом привяжу,
В расписной полюбу-ладу
Красный терем посажу.
За болотом в мочежине,
Под купальский хоровод,
Вырастает на трясине
Алым цветом Приворот.
Парень в лес. А лес дремучий;
Месяц вытянул рога;
То ли ведьмы, то ли тучи
Растянули полога.
Волчий страх сосет детину:
— Вот так пень! А мож старик?—
О дубовую стволину
Чешет спину лесовик.
На-лету сова мигнула:
— Будет лихо, не ходи!—
За корнями подсопнуло,
Кто-то чмокнул позади.
Кочки, пни и вот болото;
Парень лег за бурелом:
— Зачинается работа,
Завозился чортов дом!
Ведьмы ловят месяц белый
В черных космах, нагишом;
Легкий, скользкий, распотелый
Месяц тычется ребром.
Навалились, схоронили,
Напустили темноты,
И в осоке загнусили
Длинношее коты.
Потянулись через кочки
Губы в рыжей бороде;
Завертелся в низкой бочке
Куриногий по воде.
И почло пыхтеть да гнуться,
Шишкой скверной обрастать,
Раскорякою тянуться,
Рожи мерзкие казать:
Перегнется, раскосится,
Уши на нос, весь в губу...
Ну и рожа! Сам дивится...
Гладит лапой по зобу.
Ведьмы тиной обливают
Разгоревшийся живот...
А по кочкам вырастает
Ясно-алый Приворот.

Парень хватъ, что ближе было,
И бежать...—Лови! Держи!—
По болоту завопило,
В ноги бросились ежи.
Машут сосны, тянут лапы,
Крылья бьют по голове...
Одноногие арапы
Кувьркаются в траве,
Рано утром закричали
На поветях кочета;
Рано утром отворяли
Красны девки ворота.
По селу паленый запах.
Парень-камень у ворот,
А на нем, в паучьих лапах,
Алой каплей—Приворот;

М А В К А.

Пусть покойник мирно спит;
Есть монаху тихий скит;
Птице нужен сок плода:
Древу—ветер да вода.
Я ж гляжу на дно ручья,
Я пою—и я ничья.
Что мне ветер! Я быстрей,
Рот мой ягоды алей!
День уйдет, а ночь глуха,
Жду я песни пастуха!
Ты, пастух, играй в трубу,
Ты найди свою судьбу,
В сизых травах у ручья,
Я лежу—и я ничья.

· Х Л О Я.

Зеленые крылья весны
Пахнули травой и смолою...
Я вижу далекие сны—
Летящую в зелени Хлою,
Колдунью, как ивовый прут,
Цветущую сильно и тонко.

— Эй, Дафнис! И в дремлющий пруд
 Купая, бросает козленка,
 Спешу к ней, и плещет трава;
 Но скрылась куда же ты, Хлоя!
 Священных деревьев листва
 Темнеет к полудню от зноя.
 — Эй, Дафнис! И смех издали...
 Несутся деревья навстречу;
 Туман от несохлой земли
 Отвел мимолетную встречу.
 — Эй, Дафнис! Но дальний прибор
 Шумит прибрежной волною...
 Где встречусь, о Хлоя, с тобой
 Крылатой, зеленой весною?

Г Р О З А

Лбистый холм порос кремнем;
 Тщетно Дафнис шепчет: Хлоя!
 Солнце стало злым огнем,
 Потемнела высь от зноя.
 Мгла горячая легла
 На терновки, на щебень;
 В душном мареве скала
 Четко вырезала гребень.
 Кто, свистя сухой листвою,
 Поднял тело меловое?
 Слышит сердце горний вой...
 Ужас гонит все живое...
 Всяк бегущий, выгнув стан,
 Гибнет в солнечной стремнине—
 То кричит в полудни Пан,
 Наклонив лицо к долине...
 ... Вечер лег росой на пнях,
 И листва и травы сыры.
 Дафнис, тихий, на камнях,
 Руки брошенные сыры.
 Тихо так звенит струя:
 — Я весенняя, я Хлоя,
 Я стою, вино лия,—
 И смолою дышит хвоя.

ДАФНИС и МЕДВЕДИЦА.

Поила медведица-мать
В ручье своего медвежонка,
На лапы учила вставать,
Кричать по-медвежьи и тонко.
А Дафнис, нагой, на скалу
Спускался, цепляясь за иву;
Охотник, косясь на стрелу,
Натягивал туго тетиву:
В медвежью он метит чету.
Но Дафнис поспешно ломает
Стрелу, ухватив на-лету,
По лугу, как лань, убегает.
За ним медвежонок и мать
Несутся в лесные берлоги.
Медведица будет лизать
У отрока смуглые ноги;
Поведает тайны лесов,
Весенний напоит сытою,
Научит по окликам сов
Найти задремавшую Хлою.

ДАФНИС ПОДСЛУШИВАЕТ СОВ.

Из ночного рукава
Вылетает лунь-сова.
Глазом пламенным лучит,
Клювом каменным стучит:
— Совы! Совы! Спит ли бор?
— Спит! — кричит совиный хор.
Травы все ли полегли?
— Нет, к ручью цвести ушли!
— Нет ли следа у воды?
— Человечьи там следы.
По траве, над зыбью вод,
Все ведут под темный свод.
Там в пещере — бирюза —
Дремлют девичьи глаза.
Это дева видит сны,
Хлоя дева, дочь весны. —

— Совы! — крикнула сова! —
Наши слушают слова! —
Совы взмыли. В темноте
Дафнис крадется к воде.
Хлоя, Хлоя, пробудись,
Блекнут звезды, глубже высь.
Хлоя, Хлоя, жди беды,
Вижу я твои следы!

У Т Р О.

Слышен топот над водой
Единорога;
Встречен утренней звездой
Заржал он строго.
Конь спешит, узды туги,
Он машет гривой;
Утро кличет: ночь! беги,
Горяч мой сивый!
Рогом конь леса зажжет,
Гудят дубравы,
Ветер буйных птиц впряжет,
И встанут травы;
Конь вздыбит и ввысь помчит
Крутым излогодом,
Пламя белое лучит
В лазури рогом...
День из тьмы глухой восстал,
Свой венец вознес высоко,
Стали остры гребни скал,
Стала сизою осока.
Дважды эхо вдалеке:
Дафнис! Дафнис! повторило;
След стопа в сыром песке,
Улетая, позабыла...
Стан откинувши тугой,
Снова дикий, снова смелый,
В чащу с девушкой нагой
Мчится отрок загорелый.

Ф А В Н.

I.

Редееет красный лист осины
И небо синее, вдали
За просеками крик гусиный
И белый облак у земли.
А там, где спелую орешню
Подмыла сонная река,
Чья осторожно и неспешно
Кусты раздвинула рука?
И взор глубокий и зеленый
В тоске окинул оком,
Как бы покинутый влюбленный
Глядится в темный водоем.

II.

В закате ясен свет звезды,
И одинокий куст черники
Роняет спелые плоды...
А он бредет к опушке, дикий,
И тихо в дудочку играет,
Его, нестойкая, нога
На травы желтые ступает...
А воды алые в луга
Устало осень проливает...
И далеко последний свист
Несут печальные закаты.
А на шерсти его, измятый,
Прилип полужавявший лист.

К О Т.

Глядя голову мою,
Говорила мать:
— Должен ты сестру свою,
Мальчик, отыскать.
На груди у ней коралл
Красный и сухой;
Черный кот ее украл
Осенью глухой.
Мать в окно глядит; слеза
Падает; молчим;

С поля тянутся воза
И доносит дым...
Ходит, ходит черный кот,
Ночью у ворот.
Многие прошли года,
Но светлы мечты;
Выплывают города,
Солнцем залиты.
Помню тихий, сон аллей,
В час, как дремлет Лель.
Шум кареты и коней
И рука не мне ль
Белый бросила цветок?
(Он теперь истлел)...
Долго розовый песок
Вдалеке хрустел.
В узких улицах тону,
Где уныла глушь;
Кто измерил глубину
Сиротливых душ!
Встречи, словно звоны струй—
Полнят мой фиал;
Но не сестрин поцелуй
Я всегда встречал.
Где же ты, моя сестра?
Сдержан ли обет?
Знаю, знаю — дать пора
В сумерки ответ.
За окном мой сад затих,
Долог скрип ворот...
А у ног уснул моих
Черный старый кот.

СОДЕРЖАНИЕ.

РУСАЛОЧЬИ СКАЗКИ.

	Стр.
Русалки	5
Иван да Марья	8
Ведьмак	11
Водяной	11
Кикимора	13
Дикий кур	14
Полевик	15
Иван Царевич и Алая-Алица	16
Соломенный жених	17
Странник и змей	20
Проклятая десятина	22
Звериный царь	23
Хозяин	25
Синица	26

СОРОЧЬИ СКАЗКИ.

Сорока	37
Мышка	38
Козел	38
Еж	38
Лиса	39
Заяц	39
Кот Васька	40
Сова и Кот	41
Мудрец	41
Гусак	42
Грибы	43
Рачья свадьба	45
Порточки	46
Муравей	47
Петушки	48
Мерин	49
Верблюд	49
Горшок	50
Куриный бог	52
Картина	52
Маща и мышки	55

СОЛНЕЧНЫЕ ПЕСНИ.

	Стр.
Весенний дождь	57
Купальские игрища	60
Осеннее золото	62
Заморозки	63
Пастух	65
Полдень	65
Золото	66
Земля	66
Трава	67
Сватовство	67
Талисман	68
Лешак	68
Зори	69
Самакан	69
Лель	70
Семик	70
Додола	71
Лесная дева	71
Плач	72

ЗА СИНИМИ РЕКАМИ.

Колыбельная	75
Во дни кометы	75
Обры	76
Змеинный вал	76
Скоморохи	77
Суд	78
Москва	78
Ведьма-птица	79
Приворот	79
Мавка	81
Хлоя	81
Гроза	82
Дафнис и медведица	83
Дафнис подслушивает сов	83
Утро	84
Фавн	85
Кот	85

